ПОВЕСТИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Негадов Владимир Иванович

Владимир Иванович Негадов

Повести военных лет

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69347602
SelfPub; 2023

Аннотация

Рассказы и повести моего деда, восстановленные из его рукописей 30-летней давности

Содержание

Инструктор Долгих 4
Конец Навигации 67
На Конус 74

Владимир Негадов
Повести военных лет

Инструктор Долгих

После двух суток езды в жестком вагоне, прокуренные едким самосадом с пахучим донником, узнавшие пассажиров как родню, мы начали собирать свои чемоданчики. Все! Духота, разговоры, плач детей, частые проверки билетов уходят в забытье. Не знаю как другие нации – холодные шведы, промозглые туманами альбионцы или крикливые, как весенние грачи итальянцы, а русский человек в вагоне чувствует себя лучше, чем рыба в воде. Становится настолько общительным, что все из него лезет, как из дырявого мешка. Что его таким делает ? Может, перестук колёс, а может, жажда передвижения – составная часть романтики, при этом душа его – в парении, как птица, а язык опережает мысли. Эх, как бы мне хотелось умереть в поезде дальнего следования ! Чалдоны, заросшие по глаза щетиной, молчаливые, кряжистые, похожие друг на друга, хитрющие, и те, заложив «полбанки», не спеша вступают в «гутор».

„Ты, паря, послухай,– тайга шума не любит, шумный человек-пустой человек“, – назидательно вёл разговор ехавший с нами чалдон Прохор. „В тайге – кто кого перемол-

чит. Убить зверя- что пустяк, паря. Надавил на крючок и всё. Вот в прошлую глухую осень Селиваха медведя подчинил“, – Прохор кивает головой на сидящего напротив детину.

Селиван ест крутые, румяные, печёные яйца, посыпая их крупной серой солью.

– Сам шёл, я ему только дорогу указывал,– басит Селиван.

– Ты, паря, послухай, – выпивая ещё стакан мутноватой жидкости, продолжил Прохор. -Поставил Селиваха верховые сети с аршин от земли, обложил ими берлогу, поднял орясиной зверя – тот уж на зиму залёг – зверь вздыбился, Селиваха – под сеть нырком, а михайло в сети и замотался. Возмущаться стал, реветь, а Селиваха его часа два орясиной успокаивал – подчинял. Потом обмотал волосяной вожкой, освободил задние лапы от сети, и повёл его на вожже прямо к сельсовету. Во, паря!

– Сам шёл, я ему только дорогу указывал, – добавил Селиван, шелуша яйцо. Сели эти двое ночью, где-то на полустанке, за «Зимой», ехали в город купить берданку, припасов к ней, да в «люзион» сходить…

Остальные россияне тоже на слова охочи, а если хорошо выпьют, то поют забористо и долго отплясывают под говоруху-«ливенку». Любят рассказывать истории, вроде Евсея-плотника, ехавшего в Забайкалье. Притиснув в угол курносую, с лицом как масляный блин, бурятку, вкрадчиво с приглушением говорил : «Ты погодь, милуха, а муж –то у ей был не вполне естественный, ну, она и- того, схлестнулась с

артистом, кумекаешь, а ?» Бурятка, видимо, кумекая о чём речь, смеялась, закрывая щелки глаз, а Евсей уже заводил за её спину руку…

Распрощавшись с попутчиками, мы с Сашей Максимовым вышли из вагона. Март в Сибири тоже весенний месяц, вечерние зори ясные ,чуть подёрнуты румяной молочной пенкой, морозец лёгкий, не жжёт лицо. Тайга в дымке, стала чернее и как бы ближе. Слышно, где-то тренькает синица, по весеннему, звонко, в несколько коленцев поют эти плутовки своё ципинь-ци–пинь. Зимой этого не услышите. Это песнь весны. Город ещё не зажёг огней, прозрачные дымки из труб домов стоят столбами. Проходим красавец мост. Ангара очистилась ото льда, вода тёмно-зелёная, как бутылочное стекло, бешено клокочет у опор, а дальше течёт спокойно, разливаясь в ширь, прячась за недалёкими лесистыми увалами. Большинство городов Сибири гнездятся по рекам, как клуши в садке, потому что реки издревле для человека были дорогами. Так и этот – областной с базаром, пропахнувший «душистым» омулем, от которого вновь прибывшего россиянина мутит, и он бежит к забору, держась за него начинает извиваться как змей. «Квелой,-говорит продавец омуля, – погодь, обвыкнет, за уши не оттащишь». И правда, через неделю мы ели его почём зря. Резать его нельзя— расползётся. А вот когда обдерёшь, то прямо пальцами берёшь красноватое мясо. До чего же вкусен злодей! А запах, он не ощутим, его перебивает вкус. Безусловно, его лучше

употреблять под «это дело», а так просто, как говорил пилот-инструктор Иван Петрович, – «портить вещь – варварство!» А с «этим делом» в то время в городе было очень туго, почти как «сухой» закон

Управление Гражданской Авиации далеко разбросало свои отряды. Они стояли в Абакане, Енисейске, Нижне-Удинске, не говоря уже о самом Иркутске. Летали до Тикси, Хабаровска. Новосибирска. А летали то на чём, да ещё как летали! Само Управление располагалось в монастыре, недалеко от центра города в тенистом парке, окружённом толстой кирпичной оградой. Монахи разбежались по скитам и дальним уголкам таёжной глухомани. Под сводом бывшей трапезной гулко бьётся дробь «Ундервуда». Стук обрывается, к нам выходит красивая блондинка. Смерив нас раскосыми длинными зеленоватыми глазами, спросив: «Что надо?»-ушла, крутнув бёдрами. Сашка зажмурился, я воздел взгляд в потолок, там витал на больших белых крыльях узколицый архангел. Он ехидно улыбался и грозил мне перстом…. Нас принял начальник Управления, а рядом билась дробь «Ундервуда»…

Лежим на койках в просторном общежитии сухопутного аэропорта. Собрались двенадцать лётчиков, несколько механиков – молодые, здоровые парни. Будем летать по зонным маякам на «Р5»-ых .В то время в воздушных силах он был разведчик и штурмовик. Это они под Гвадалахарой вышиб-

ли дух и печёнки у молодчиков Франко, сделав мешанину из железа и мяса. Они их закупорили в узкой долине. «Р-5»-ых было тридцать: девяносто пулемётов, пятнадцать тонн бомб. Много дней не выли шакалы в долине. Они были сыты…

Сегодня воскресенье, на улице ветер, мокрый снег, наводящие тоску. Завтра теория формул и графиков, которые трудны и сразу забываются, когда берёшься за ручку управления самолёта.

–Так, братцы, дальше нельзя, мы уже обрастаем мхом недоверия, а чем дальше, тем он будет гуще. Нет, я так не могу. Придётся сходить, принести «её» для понимания души, а то лежим, как будто никто «её» не желает.

Мысль многим пришлась по душе, стало оживлённее, кто-то сказал: «Давно бы так!», – и большинство выложили «родного братца» -пятёрку, где был отпечатан лётчик с парашютом на животе, в шлеме и очках, решительно глядевший на вас. Я отдал положенное Федотову, достал брус сала с бледной шкуркой и запахом чеснока. Василь Самсонов: «Режь помельче, народу много». Стало понятнее, кто будет пить, кто-нет, кто свой, а кто пренебрегает обществом, а стало быть не внушает доверия. Мох недоверия стал вянуть. Вдруг троим нижнеудинцам потребовалось сходить на почту, они вышли не глядя на нас. Василь сказал: «Предатели рода людского». Не успела за ними закрыться дверь, как один из них, Краморов Михаил, вернулся и стал оправдываться:

–Тоже нашли время жёнам писать, ещё не оглядевшись.

Написать можно и завтра, правда?

–Конечно, да и что писать, когда они знают где и зачем мы тут, – сказал Максимов.

–Завтра рано, -вставляет Василь Самсонов, – жену нужно держать в некотором нежном беспокойстве, а когда пишешь подпускать немного тревоги и неопределённости, что де чертовски трудно, ночей не сплю, а вчера двоих предали мати – сырой земле – мотор на резонанс развалился, что нет спасу как всё дорого. Пусть всё время думает, каково тебе здесь. Такие думы на легкомыслие не пустят.

–Ну, ладно, тогда через недельку и напишу.

Уходят ещё двое, один вертится на койке, никак не может «уснуть».

–Как думаешь, далеко до магазина?» – спрашивает Гриша Отрышко у техника- бурята .

–Так, мал-мала, – без выражения на лице отвечает бурят, облизанный степными ветрами, как камень-плитняк.

Закуска готова: сало, чуть заплесневелая колбаса в шкурке с тафаларских приисков, а тех, кто ушёл за «ней», всё нет…. Кто-то резко стукнул, дверь открылась и вошла ладная, крепко сбитая, с засученными рукавами бабёнка. Мягкий низковатый певучий голос спросил:

–А моего тут нет ? – с пониманием глядя на стол и с недоверием на нас. Думаю: «Хороша, и чья это?» Но все молчим, или не сообразим, что ответить, ошарашенные её красотой или появлением.

–Если придёт, не давайте–убью!. Окидывает глубокой чернотой глаз и уходит.

–Такая ночью и задушить может, и не кашлянешь ! – замечает Гриша.

–У нас баба вся ровная, потому степь живём,– ни к кому не обращаясь говорит бурят. У вас гора есть, тайга есть, однако и баба разная.

–Ты деньги давал ? -прерывает его Саша.

–Однако давал, мы тоже «её» хотим.

Молчим, отводим глаза от закуски, поглядываем на дверь.

–У нас степь далеко видно, а тут стена не видно, так и баба .

– Что, так и баба?

–А ничего. Я её знай, это Маша – Петровича жена.

–Да такую и за стеной видно! – вставляет Гриша. Ты как попал в авиацию?

–Мы – комсомол, страна сказал надо –идём.

–Ком – со – мол ! А водку пьёшь.

Бурят щурит глаза, вроде как улыбается, потом уверенно говорит:

–Мера знай, честь знай.

Вдруг быстрые шаги по коридору. «Она»-говорит бурят. Я подумал, что опять Петровича жена, но распахивается дверь: розовый, с дождинками на бровях, улыбающийся Федотов! Все карманы отягощены «ею», в руке промасленный свёрток, испускающий дух, «злодей»; во второй прижимающей к

сердцу ещё три бутылки, плачущие от дождя. Ни тени упрёка, осторожно берём принесённое, кто-то его раздевает, бурят подставляет стул, в стакан наливает и говорит:

–Пей за дружба !

–Только, братцы, в Военторге! – закусывая говорит Федотов. Нигде нет, зараза, а не город. И как здесь люди живут,– пустыня! Взял семь штук, на все гроши. Не давали, сказал–свадьба. Хватают, не город – пустыня !

–Степь, -поддакивает бурят.

Нас семеро, спящего не трогаем – он ворочается и дышит с остановками, как паровоз под парами. В дверной ручке заложен стул. Бурят лоснится, что –то долго нет слов «Мера знай, честь знай», может он забыл, хотя уже махнули грамм под двести. Кто-то дёргает за дверь, не успевает подбежать Максимов, стул падает. Решительно входит высокий мужчина в форме. Василь опустил бутылку под стол. Вошедший знакомится – инструктор Долгих. Ему подставляют стул, он берёт кусочек хлеба, отделил мякоти «злодея», понюхал, причмокнул:

–Ох и хорош, бродяга!-обвёл стол глазами, как-то огорчённо спросив, – Что, вся ?!

–Что Вы, товарищ, инструктор!! Есть!

И Василь, достав бутылку, льёт в стакан инструктора. Бурят, видя как стакан наполняется, говорит: «Мера знай!» Инструктор поздравляет нас с прибытием на учёбу, поднимает стакан, но, поднеся его ко рту, спрашивает: «А моя

здесь случайно не была?» Дружно отвечаем, что мол случайно была и хотела …… «А, знаю, убить, да ?». «Такая может!»-подтверждает Гриша. «Нет, мы её знай!»–горячо возражает бурят. «Ну ладно, уж!» – Иван Петрович пьёт, закусывает, хвалит сало, спрашивает– чьё. «Свинья» – говорит бурят. «Его» – показывает на меня Максимов. «Маша Ивановна баба ровная, – «степь»-добавляет Иван Петрович, бурят согласно кивает головой. «А ты чего здесь, Иван?» - спрашивает инструктор; оказывается бурята зовут Иваном. «Мы учить М-17, самолёт. Страна сказала надо, потому комсомол… ». Почему то все молчим, каждый в своих думах. Нет, мы не тяготимся инструктором, в лётном деле мы тоже не птенчики. Но иногда так бывает в компании тягостное молчание и тогда говорят, что милиционер родился. Может и в этот момент произошло это событие, а, может, это молчание есть пауза к песне. Хоть бы кто-нибудь запел. И как бы на призыв моей души Иван Петрович, наклонив голову, прикрыв глаза ресницами запевает тихим баритоном:

„Поезд скатился с уклона, красным моргнув огоньком,

Кто-то стоял у перрона, долго махая платком ….“

Можно петь громче – под нами клуб, на третьем этаже телефонная станция, но эта песня грусти не требует громкости и мы подтягиваем, вкладывая в голоса мягкость своих грубоватых натур.

Мы в думах о доме, о разлуке, песнь обволакивает нас паутиной одиночества. Поэтому и прозевали, услышав гро-

хот уже упавшего стула. Иван Петрович натренировано метнулся и залёг между коек. Появляется всё та же незнакомка, но теперь мы знаем кто она. Лицо в приятной улыбке, рукава кофточки опущены. Моргнув нам глазом, давая понять, что она всё знает, восклицает: «А моего тут нет?» Врать бесполезно. Она садится на стул, где только что сидел её муж, смотрит на нас на всех : «А Степь, и ты здесь», он ей что то отвечает, но его не понять,– «Здрасте, уже готов !?!» И, правда, Иван опустив голову, что-то бормочет на своём языке, держась за спинку койки. «Про Селенгу запел, ну, тогда всё». Она ловко, как ребёнка, берёт бурята на руки и несёт его к койке, где залёг её муж. Как бы случайно видит его: «Смотрите-ка, мой Ванечка! А я шукаю, где вин?». Иван Петрович смущён. Она рада, что он попался как мальчишка, стряхивает с него пыльцу, оправляет китель, берёт за руку – он приятно доволен – и подводит к столу. Инструктор знакомит : «Мария Ивановна, моя жена, бывший шахтёр Черемховской Комсомольской». Петрович садится на прежнее место, она становится сзади его стула. «У вас. что, уже вся ?» – спрашивает Мария Ивановна . «Ну что Вы!!» – по медвежьи ласково говорит Василь, сам встаёт, запускает руку под подушку, слышится звон стекла. «Одна не зазвенит, а у двух звон не такой» – шутит он. Ряды наши поредели: «Степь» спит, Федотов без слов лежит, заложив руки за голову, видит на потолке свою прошедшую молодость, свадьбу трёхмесячной давности. Саша сказал: «Хватит, что–то не идёт». Но сидит

с нами, ждёт кризиса. Василь же в этом деле не утомим, как верблюд, запасающийся водой перед пустыней. Наливает себе и из уважения к Ивану Петровичу по полному стакану. «Что вы, куда ему так много!» – замечает Мария Ивановна. Она берёт стакан и мелкими глотками, как холодную воду, отпивает половину. Петрович возмущается , но она гладит его по голове, успокаивает. Как- то неожиданно он выпивает, не чокаясь с нами. В смуглость лица Марии от выпитого вкралась розоватость каррарского мрамора, чернота глаз углубилась до бездонности омута, расширив зрачки под ресницами, длинными и изогнутыми к верху, как шубка сибирского шелкопряда. Блажен тот муж , имеющий такую жену !!! Она хочет что-то нам рассказать и её чувствительные губы, к которым хочется прижаться, раскрываются, обнажая белизну чуть влажных зубов. «Всё вот он»,–она приставляет как дуло пистолета указательный палец к голове мужа. «Сейчас пойдёт про тень-перетень-кривой плетень», – угадывая желание к разговору, перебивает её Петрович. Но это не останавливает Марию Ивановну. «Мы с подругой Валей жили в Черемхово и горя не знали, особенно, кто такие эти лётчики. Бывало прострекочат над нами, блеснут на солнце чем-то ярким и до свидания. Работали мы с ней в шахте на отбое . Работа аховая, дело это конечно мужское, силовое. Но мы и тянулись, не последними были. «Давала стране пыли !» – вставил Петрович. И вот семнадцатого августа вручают нам с Валей, как стахановкам, по билетику, такие розовенькие

квиточки – приглашаетесь на день авиации, с катанием на самолёте .—Ещё человек шесть получили такие квиточки . Ехать –не ехать ? Поехали. День был ясный, тихий. На аэродроме тьма народу, оркестр, ларьки с пивом, квасом, заборчик сделан голубенький, а за ним самолётики как стрекозюльки, лётчики ходят в кожанках, все серьёзные, но молодые. Многие из наших отказались летать. Но мы с Валей решили – будь, что будет. Подходит их командир, взял квиточки, подвздел нас под руки и повёл к «стрекозюлькам». «А я, видите, здесь широка, – показав на бёдра, «и здесь», – потрогав бюст, улыбнулась Мария Ивановна . Командир приказал: «Товарищ Долгих, сажайте» Залезла я ногами в кабину, а дальше не вхожу, узок–то самолётик. Но ничего, Ваня придавил, только сказал: «Ишь, разнесло. Уголь тобой что ли крошат? Можно и не привязывать, и так плотно заклинилась. Но всё таки ремешками крест на крест привязал, под грудями проверил – не жмут ли . Потом затрещало запрыгало, смотрю – уже висим, ветер бьёт, а земля где–то, не вижу, дух во мне замер. А потом осмотрелась и петь захотелось, так хорошо !. Сели, и тут я поняла, кто такие лётчики, стала Ваню целовать; все смотрят-смеются, мол, обалдела баба, что делает»…. «Что, у вас уже вся?» – Василь опять сунул руку под подушку, но звона не было. Разлил всю, Мария Ивановна опять отпила, говоря «тебе много, Ванечка !» Закусили. «А вечером они нас с Валей в сад над Ангарой пригласили, и там Ваня признался – без тебя, Маша , жить не

могу !» «Братцы, не говорил я этого, не верьте !» «Может, и не говорил в прямом смысле, но я так поняла», – сделала заключение Мария Ивановна.

«Вернулись мы домой, а под землю не полезли. Вы что это, девки? – спрашивает бригадир. А мы и сами не знаем, что. Видно, конец пришёл нашей шахтёрской жизни. Валентина тоже говорит, что Сашка без неё жить не может. Испугались мы за ихние жизни, распрощались с угольком, бригадиром, со всеми и айда …. Приехали, а их нет, в полёте, дежурная ели пустила . Какие, – говорит,– жёны ? У них вроде вчера другие были. Мы с Валей принялись за хозяйство, всё вымыли, пустых бутылок штук двадцать выгребли. Лежим, я – на Ваничкиной, Валя – на Сашкиной. Койка – полуторка, свешиваться буду. Надо бы двойную. Вечером слышим разговор: «К вам жёны приехали.» «Будет болтать – жёны!» «А вы посмотрите». Мы «спим», видим как приоткрылась дверь, посмотрели, а Саша говорит: «Верно, не наша комната, пошли Ваня». Мы уже волноваться стали, явились «вдрызг» – «Простите нас, это мы прощались с детством !» Я думаю , если бы не на нас они женились, может им бы хуже было»……

«Потом нам дали квартиру, вот здесь. А Ваня у меня хороший, -Петрович пытается возразить, но Маша легонько закрывает ему рот ладонью. На второй год у нас появился Витя, потом Женечка – доченька, а потом и Ванюша. Это в честь мужа».

«Пора уж завязывать торбу, а то опять кто-нибудь появится в честь нас», -проговорил Петрович.

«Я так и сделала прошлый год, но только я завяжу, так ты сразу развязываешь, Ваня! Ну что , уже вся?» «Не сами мы её делаем» – сказал Василь . Что ж и на том благодарствуем. Пойдём, Ваня», – она ласково поправила ему волосы, одела фуражку, шарф, реглан, поцеловала в щёку, поклонилась нам, взяла его за руку и увела .

…Просыпаюсь от разговора – кто-то возится в темноте. Это те двое, что ушли на почту писать письма жёнам. Они под «высоким напряжением» . Один из них в темноте, потеряв уверенность, плюхнулся на спящего Василя. «Вот, аспарагусы, напьются и падают куда попало. Придётся завтра доложить кому следует»,– Василь никогда не верил, что безобидный цветок имеет такое название. «Аспарагус – цветок!? Бросьте! Я читал, что где-то там, в Африке или в Аравийских песках водится такой гад, пьёт живую кровь А вы – цветок». Наступает тишина, пришедшие пробираются к койкам. Один сшибает пустые бутылки , они звенят , одна долго катится и разбивается о ножку койки. «Да, придётся кое – кому сказать . Аспарагусом ещё обозвал. А сам то ты – кто !?» – говорит один из них . Василь молчит …

С окончанием теории нас поздравил командир отряда. Хотя наши аттестаты пестрели тройками, как полевой луг ромашками, но всё же мы были «лучшие из худших», как сказал Иван Петрович. По поводу теоретических успехов пили «зверобой», так как другого ничего достать не могли. Эта гадость наводила на грусть с тоской. Василь клялся, что завтра напишет Анастасу Микояну об этом напитке. Саша к чему-то вспомнил вчерашние экзамены по науке извозчиков – географии и спрашивал Петра Вьюшкина: «Петь, а Петь , ну, как же не мог ты найти это озеро, а?» Пётр, цыганской породы, с крупными чертами лица, чёрен, с длинными волосами, хмуро смотрел на Сашку и, шевеля толстыми губами, оправ-

дывался: «Я то надеялся на Антона, а пришлось самому отвечать о том, чего не знаешь». Мне тоже вспоминается этот экзамен. Его проводила совсем молоденькая, хорошенькая, беленькая, как одуванчик, Марго. Мне было поручено, когда она заикнулась, что будет вести у нас географию, «обработать» её. «Мы на тебя надеемся, Антон, чтобы меньше четвёрки ни у кого не было. Народ тебе доверяет, так что постарайся», – просил меня Михаил. Я старательно выполнял волю народа. Ходил с ней в кино, провожал аж за «Ушаковку», таскался на западно–европейские танцы. Правда, танцевали с ней другие, я был не горазд. Дрожал за свою шкуру, пробираясь по глухим улицам обратно. И это дало «всходы». Она расцвела, прилипла, как мякиш хлеба, весь урок смотрела мне в переносицу, хотя говорила, к примеру, о Монголии . «Народ» понял, что всё в порядке, резался в картишки, похрапывал; «наука извозчиков» была в забвении. И как это получилось, сам не ведаю, но стал я этого «одуванчика» целовать. Под сердцем у меня появилась щемь, в коленках – дрожь, в ушах казалось гудение моторов. Я понял, что ещё два–три таких вечера и с «одуванчика» полетит пух. В тот вечер между ласками я передал ей списочек, кого бы она имела «в виду» на экзамене. Списочек был невелик, всего шесть душ. Себя я из скромности не внёс Мы целовались до одури, сердце прыгало, как щегол в клетке, чтобы колени не дрожали, ноги я заплетал кренделем. Но где-то под фуражкой, в «котелке» что-то сработало, и благоразумие охла-

дило чувство, как окунуло в воду. Каждый вечер я уходил , но не к ней, а делал вид. Мишка что –то заметил: «Смотри, Антон, не подведи, а то –хана!» За день до экзамена Марго перехватила меня в вестибюле. Мне было стыдно, как голому в трамвае. «Лопух ты, Антон, ну прямо как у Лескова. Я то думала, что ты мужчина. Зачем же подавать надежду, которую не хочешь выполнять, ну зачем? Разве это по-комсомольски? Да разве я требовала жалости!? Право, какой-то ты несуразный, не как все. Больной, что- ли?» Она ещё что-то впихивала в свои слова обидное для мужчины, что и не выговорить. Я старался услышать звонок и когда он раздался, кинулся в дверь, как в спасательный круг с борта горящего парохода. В день экзамена она вошла в класс траурно-торжественно, в чёрном костюме, белой ажурной блузке. Опять была одуванчиком, но каблучки постукивали как-то резковато. Раскрыла журнал, повела пустотой взгляда в мою сторону, достала из маленького карманчика клочок бумажки, в котором я узнал мой список лиц, которых она должна была иметь «ввиду». Миша многозначительно моргнул мне. Вьюшкин с указкой уже стоял перед картой мира, в списке он был первым . Марго, помедлив немного, громко вздохнула и спросила Петра, что он знает о Швеции. Пётр, ссылаясь на неясность границы, старался обвести эту страну, залезая, то к норвегам, чаще к финнам,– объяснил флору, что там растёт охотно овёс, ввиду каменистости почвы и подходящих климатических условий для него . «А лес растёт?»– спроси-

ла Марго. Пётр вопросительно посмотрел на нас – мы дружно кивнули – и уверенно сказал, что да, растёт . Но не такой, как у нас. Про фауну Пётр так распространился, что сказал: «Там водятся песцы, олени и лопари». Марго поморщилась, но промолчала. «А в промышленности делают ножи к безопасным бритвам, и называются они «Матадор». Хорошие ножи, можно раз десять не менять. «Довольно», – прервала Марго глубокую осведомлённость Петра о шведской индустрии. Всё бы было хорошо, если бы она не задала дополнительный вопрос о месте нахождения озера Балхаш. Пётр посмотрел своими глазами на неё, и нам показалось, что она вздрогнула. Время работало впустую. Он шарил указкой в стране озёр – вот она переплыла Балтику, перечертила Польшу, в Венгрии впилась в Балатон. Лицо Петра озарилось изнутри светом, и он сказал: «Вот оно!» «А вы прочтите, пожалуйста»,– съехидничала Марго. «Ба-ла-тон», – по слогам произнёс Пётр и внутренний свет погас. Указка, вяло зацепив несколько безозёрных стран, через Турцию от озера Ван, торчком перескочила за Арал, чуть ниже Балхаша, воды которого на карте были блеклыми, сливались с песками. В этот момент кто-то кашлянул, Пётр сразу сообразил, что оно где-то рядом и, указка завиляла, как собачий хвост, но напрасно. Или от волнения, или от неясной окраски, где суша-где вода, указка рыская удалялась на восток и устало остановилась у Байкала. Цыганская натура Петра не могла смириться -тогда он размашисто очерчивает круг, только три раза задер-

живаясь, не зная, включать ли в сферу Англию, Эфиопию с озером Тана и Индию. Англия и Эфиопия были полностью в круге, а Индия по железной дороге Калькута-Лахор разрезана, и указка, перепрыгнув Тянь-Шань, опять стала у озера Байкал. «В общем где-то здесь, точнее показать затрудняюсь. Да и зачем нам это озеро Балхаш?» «Да, верно, где-то здесь,-сказала Марго, пройдя взглядом мимо меня, и, раз уж так, чьё это озеро, наше?» Пётр снисходительно улыбнулся, подмигнул нам левым глазом и изрёк: «Сами знаете. Взяли – не растерялись!!» Вьюшкину она вывела тройку, потом подумав, впереди прочертила не то тире, не то минус. На что Пётр в негрубой форме заметил: «Хоть сто минусов – была бы тройка! В аттестат минусы не заносятся». Избиение младенцев, которые были в списочке, продолжилось, коим она аккуратно вывела трояки. Возмущались немногие. Лишь Федотов-молодожён негодовал: «Вот подлая бабёнка! Надо же, спрашивает то, что не знаем, и зачем нам чужие страны, озёра, когда мы в Тофаларию летаем! Что там с ней сделал, Антон, почему она такая злющая?» Хотя я отвечал не лучше других, Марго поставила мне четвёрку, был ли это подвох, или в душе у ней ещё что-то ко мне было. Но «народ» понял по своему, взроптал и упрекнул, что я не болел за общество.

Утро, лужицы затянуты хрупким ледком, взошло солнышко, но ещё за лесистыми горами лучи его бьют вверх. День ожидается быть ясным. На линейке – три Р-5. Они похожи на щук – зелёные, узкие фюзеляжи, в длинных алюминиевых носах-моторы. Подходим к средней машине, приветствуем инструктора. Иван Петрович строг, как будто вчера и не выпивали за теоретические успехи. Пунктуально объясняет задание, потом под руководством техника Ивана-Степь осматриваем самолёт. Иван хлопает по гаргроту рукой, как коня по крупу. В жестах и словах его чувствуется уважение к машине. «Вы с ней, братцы, – как с девушкой, только на «Вас», на «ты» никак не надо», – улыбаясь говорит он. Командир отряда собрал инструкторов, они стоят полукругом – Долгих, Никитин и трусоватый, нервный Лузин. Анфизов закурил, что-то сказал смешное. Иван Петрович, откинув голову назад, смеётся от души. Саша, схватившись за живот, хохочет громко, переливчато. Только Лузин стоит прямо, растянув тонкие губы с нехорошей улыбкой.

Первым в кабину сел Максимов. На голове меховой нерповый шлем, с правой стороны торчит трубка переговорного устройства, с левой – змеится провод от приёмника – «наушник», и голова Саши похожа на самогонный аппарат со змеевиком, который я видел в детстве у своего деда Ареньи. Иван Петрович занял заднюю кабину, Иван Степь подал ему изогнутую ручку управления, щёлкнул замок и она на месте. Застёгнуты лямки парашютов, привязных ремней, одеты очки, и Максимов поднимает правую руку вверх – готов к полёту. Мотор несколько раз чвакнул, потом чётко заработал, и сизоватые клубочки дыма заскользили по фюзеляжу. В воздухе запахло жареными семечками. Саша взлетел, набрал тысячу метров, лёг на курс и исчез из глаз в голубизне утра. Через два часа сел первым Лузин, потом наш. Никитин сел последним, мотор у него «чхал». Инструкторы, дав замечания лётчикам, сошлись против нашего Р-5-го. Почти одновременно Лузин и Никитин вынули из карманов кожа-

нок свёртки- бутерброды с колбасой. Отделив один, Никитин предложил Ивану Петровичу, но Иван отказался. Лузин вяло жуя, с прищуром бледно-серых глаз, как бы между прочим, сказал: «Как ты, Иван не поймёшь, ведь стыдно нам за твоё бескультурье! И жёнам нашим. Когда это кончится?» Нам непонятен упрёк Лузина. Иван Петрович успокаивает его: «Я же несколько раз разговаривал с Машей, просил не носить мне обеды к самолёту. Я, как все, на бутербродах проживу, деликатно и без хлопот. Право, Маша, мне стыдно за тебя. Но вы ведь её знаете! Говорит, не могу я, чтобы ты без горячего, что я с ней могу сделать? Знаю, что ваши жёны осуждают её. Когда она по всей погоде идёт на аэродром, говорят, вон – опять «шарабан» покатился!» Все молчат. Бутерброды съедены, отдых накоротке закончен, и инструкторы идут по машинам. Я запускаю двигатель, он пофыркивает, как сытый конь. Приёмник включён, слышу: «Курс двести девяносто, высота – тысяча». Нужно отойти от радиомаяка минут на десять–пятнадцать, чтобы ясно различать «А» и «Н». Если они звучат с одинаковой силой, то это – равносигнальная зона, расположенная на линии пути. Морзянка бьёт с одинаковой силой: « . -» , « – . »: я – «на ней». Ветерок – чуть в левый борт. Едва подумал, что надо держать курс градусов на пять меньше, как в наушниках уже слышнее « – . » , « – . ». «Ну, что ты там, уснул ?» – туго бьют в ухо слова инструктора . Кабина закрыта колпаком, он трепещет от струи винта, бьёт по темечку. В голове слышен

треск, шум, тиканье морзянки, и не голова, а котёл с кипящей кашей. Доворачиваю влево, ловлю равные сигналы, на них ложусь на курс двести восемьдесят пять. «Ну, вот так и держи, Антон» По времени разворачиваюсь на 180 градусов, учитываю снос. Теперь, вроде, легче. Заруливаю на стоянку, встречают нас техник Иван, рядом Мария Ивановна. В одной руке у неё зембель-кошёлка из куги, во второй–белая салфетка, в ней что–то завёрнуто. Иван Петрович коротко даёт замечания, хлопает по плечу, вылезает из кабины, подходит к жене. Мария Ивановна ставит зембель на сухое место, на него кладёт узелок,– встречает мужа. Поправляет на нём шарф, смотрит на него, пока он не улыбнётся. Потом идут к пожарному ящику, стоящему между самолётами, захватив зембель. Вот она вытаскивает из зембеля, как в мерку сшитую скатёрку, стелет на крышку ящика. Развязав узелок, достаёт эмалированные зеленоватые миски, расставляет их и рядом кладёт по два аккуратных кусочка хлеба, ложки. «Всё готово, Ваня. Зови инструкторов». «Нет, Маша, зови сама». «Ну, ладно. Саша, Никитин !» Откуда-то сразу, точно он ждал этого зова, Никитин появляется у ящика. Он потирает руки, заглядывает в зембель, открывает крышку, стоящей в нём кастрюли. Оттуда ударяет запах наваристого борща. «Вот это да!! Украинский ? Давно не ел, придётся попробовать, наверно хорош! А, Маша?» «Всё шутите, Саша, дома-то, наверное, куда вкуснее готовит Валентина?» «Вкуснее – невозможно, наверное. К тому же дома – стены, а здесь

– природа! Налей-ка, Маша!» Мария Ивановна корчиком, на котором золотятся петушки, разливает борщ. Клубится парок, его несёт в нашу сторону, мы уходим за самолёт, облокачиваемся на стабилизатор. Внутри голод скребётся о стенки желудка, как ветер по железной крыше. Видим, как Мария Ивановна идёт к другому самолёту, где отвернувшись стоит покуривая в душевной неизвестности Федос. Берёт его под руку – он неумело сопротивляется, подчиняясь как бы силе, с гордо поднятой головой, идёт. Выглядываем: Иван Петрович и Никитин уплетают борщ. Видим, как Мария Ивановна предлагает Лузину попробовать, поднося его в ложке. Но Федос выставляет ладонь и запрокидывает голову. Никитин быстро кладёт ложку, подходит к Федосу сзади, крепко берёт его за руки и отводит их назад, а тем временем Маша вливает в открывшийся рот борщ. Мгновенно лицо Федоса становится злым. Но не успевает борщ дойти до дна желудка, как оно добреет, губы вытягиваются в щель – улыбку и Федос, как бы из уважения, говорит: «Мария Ивановна, не в силах я противостоять!» Иван-Степь бьёт ветошью по перкали рулей, мгновенно злится, быстро говорит, путая слова: «Ай, какой человек!? Шакал–много, хорёк–мало, змея–как раз! Маша – «шарабан», а борщ наворачивает! Ай, какой люди неровный есть!»

Предстоит последний полёт Севки Анисимова, всё сделано, ждём инструктора. Но появляется около Мария Ивановна, она зовёт нас покушать. Иван к ящику не подойдёт, пока там Федосий. Мы тоже не идём. Мы голодны, а ведь ещё часа три придётся быть на аэродроме. Внутри у нас чёрт-те что, просто подташнивает! «Да, хорошо бы что-нибудь бросить на колосники»,– мечтает Севка – бывший кочегар. Инструкторы ушли к балку покурить. Оттуда слышен голос Федоса: «Она ведь у меня на кафедре, дома – чай с бутербродами, бутерброды с чаем. Горячего нет. Хорошо, что детей у нас нет – пропали бы!». «А что ты фасон давишь, когда те-

бя Маша зовёт?» – спрашивает Никитин. Федос не замечает слов Саши. «Тебе, Иван, хорошо, Маша не работает». Молчат, курят и сизый дымок тает, как облако при хорошей погоде. Мария Ивановна опять около нас . Теперь она не приглашает, а загоняет нас как гусят к столу. Разливает оставшийся борщ поровну даже в четвёртую миску, кладёт по маленькому кусочку мяса. достаёт со дна зембеля хлеб, и мы, не дожидаясь приглашения, едим. Губы сразу припухают от перца, еда чертовски вкусна и достаточно горяча. Кончаем с борщом быстро. Ещё достаётся и немного пюре. Червяк порядком заморён. Я бегу в балок мыть посуду, возвращаюсь и слышу как Мария Ивановна рассказывает повеселевшей братве: «Мой батя, братья Пётр и Степан – шахтёры спокон веков. Уголь всегда добывался силой, а тогда – особенно. Обушок – всему голова. А теперь то – техника. И вот мама днём, ночью, зимой, летом в обед носила своим на шахту вот такой же борщ с мясом или заправляла салом, пшённую разварную кашу и квас. Это всегда. Тогда бутерброды ещё не выдумали, дикое время было. Вот так сорок лет! Если бы не мама – а потом и мне пришлось- так разве мужики-то под землёй выдержали без горячего столько лет? Помню, батя уже не работал, – переехали в Сибирь за братьями, – выйдет во двор и всё смотрит и смотрит на солнце, как будто никогда не видел его. Скучал по Украине. Сибирь не уважал. Нет в ней мягкости, не особенно ласкова, сурова уж очень. Бывало сядет на солнышке, позовёт меня, посадит рядом, спро-

сит: «Маша, кто написал: Украина – ридный край узкогрудых тополей? Я не знала кто. Мне казалось, что это батя сам от тоски выдумал… Вот и до сих пор эта привычка от мамы осталась. Знаю, что не прилично тащиться с кастрюлями на аэродром, а подумаю, как это он в воздухе без горячего, и «качусь» с кастрюлями как шарабан». Мария Ивановна собрала всё, сложила в зембель-кошёлку, подошла к инструкторам. Иван-Степь смотрел ей вслед, вздыхал как конь после водопоя, что-то шевелил губами. Вот подошла она к мужу, поправила шарф, застегнула верхнюю пуговицу реглана, приподнялась на носки, но посмотрев на Лузина, взяла зембель и попрощавшись ушла, часто оглядываясь.

Мы летали месяц. И всегда, после четырёх часов полёта, наш самолёт встречали техник Иван и Мария Ивановна, одета она была по погоде, но всегда с узелком, зембелем, в душевном равновесии и лаской. В дождь скатёрка ложилась в тех-балке, в пасмурную погоду и слякоть – на пожарный ящик, а когда зазеленела трава-мурава – на её бархатистый ковёр. Так же слышали слушали мы нотации Лузина и каждый раз видели как его, «гордого», вела Мария Ивановна к скатерти- самобранке, где вливала первую ложку «для пробы» в его возмущающийся рот. Как Никитин, потирая руки, говорил: «Что дома – стены; а здесь – природа ! Наливай, Маша». И я думал, что привычка Марии Ивановны не достойна осуждения.

…. Отложены деньги на билеты в жёстком бесплацкартном вагоне, несколько рублей на харч. Аттестаты нам вручил командир отряда. В них первый раздел говорил о нашей теоретической осведомлённости авиационных наук. Если перевести взгляд на раздел два – «лётная практика», там – порядочек. Будьте уверены, это наш «хлеб». Летать мы умеем. Пусть даже отметки занижены, это в группе Лузина, – для «страховочки». «На бумаге хуже – на деле лучше» – поговорка Лузина ребят не обижает. Между разделами – контраст, поэт сказал бы «Как чернь угля и яблонь цвет». Командира отряда почему-то прорвало, всегда немногословен, но сегодня его несёт. Может, потому, что он вчера при взлёте на «Г-1» в Усть-Орде потерял колесо и пришёл в Иркутск с одним. Мы только что встали, окна были открыты, над нами гудел самолёт, я увидел суматоху на аэродроме. Многие смотрели вверх. Вот он проплыл – двухмоторный, оранжевый, правая нога была «разута». Анфизов знал, что потерял колесо: ему сообщили на борт, но на старте у выложенного «Т» загнули правую половину поперечины – сигнал неисправности правого колеса. На крыле «санитарки», держась за дверцу, в развивающемся, как белая птица, похожая на цаплю, халате, висел доктор Лианский, страдающий моченедержанием. Земля была готова принять самолёт. Пожарники в касках разматывали рукава, один держал лестницу. Доктор Лианский уже стоял за «санитаркой», держа в руке резиновый мешочек,– у него был «сеанс». Всё дело случая.

С плюсом опыта и умения Анфизов посадил машину на одно колесо искусно, а фланец ноги потерянного попал в колею дороги, и не врезаясь заскользил по накатанному грунту. Если бы диск попал рядом в мягкий грунт, машина была бы бита. А так – отделались геройством. Нет, вот он заканчивает говорить словами нашего инструктора, что мы лучшие – из худших и поздравляет нас. Потом каждая группа приглашает своего инструктора «откушать». Нас пятеро: инструктор, Иван-Степь, которого как «лучшего из худших», оставили авиамехаником в тренировочном отряде, Максимов, Севка Анисимов и я. Не знаем, придёт ли Мария Ивановна. Стоим с Севкой в коридоре – это краснощёкий, пухлый парень среднего роста, прозванный нами «петюхом» – подходит Сашка, говорит, что водка в кондиции своей имеет слабость и чертовски дорога. Где бы достать спиртяги – тот градуснее. Это он даёт намёк Севке. Тот местный и имеет «связи». На закуску денег почти нет, это не касается Сашки. Неделю назад ему прислала жена на приёмник СФД-9, которые ещё не успели прибыть, как их раскупили. Так что деньги есть, но не все. Они с Василём Самсоновым были у телефонисток, и после очень долго сидели на койке в великой задумчивости. Саша держал в горсти тонкую пачку красненьких тридцаток и шевелил губами. «Эх, хорошо бы достать картошки, отварить в мундире, огурчиков, да омуля – злодея», – думаю я. Потом объясняю свои тревожные думы Саше и прошу его субсидировать мою идею. Он с пониманием

о деле запускает руку в нагрудный карман, держит её там так долго, как будто она попала в капкан. Но вот она появляется с красненькой. «Теперь только на «Рекорд» третьего класса. Всё равно, ты Антон, на эти деньги порядочной закуски не купишь. Знаешь, а если привлечь к этому делу неорганизованную массу со стороны женщин, имеющих врождённый талант изворотливости по изготовлению вкусной и здоровой пищи. А из чего-они сами должны сообразить. Самое главное–подать им идею», – философствует Александр. «Каких это женщин? Да и кто пойдёт в общежитие?» «Это сделает любовь и моя идея. Идём!» Поднимаемся на третий этаж. На площадке у двери стоит огромный, обшитый полосками белой жести в клетку, сундук. «Суздальский», как сказал Саша. Сундук заперт на «калач» – с бычье сердце. В нём – архив, а на двери – табличка: «Коммутатор аэропорта. Посторонним вход строго воспрещён». Сашка шепчет: «Ты подожди здесь. Видишь – тебе нельзя», – и исчезает за дверью. Остаюсь, сажусь на «Суздальский», трогаю «калач» – он холоден и в своей массивности серьёзен, более подходил бы для тюрем или банков. Минут через двадцать открывается дверь, выходит Сашка, за ним, – знакомимся, старшая смены Ксения. Сашка с выдохом в ухо шепчет: «Эта – Пентюха». Смотрю на Ксению . Нет, вы меня лучше раскатайте дорожным катком как консервную банку, но для «Пентюха» она чрезмерно хороша. А впрочем,– любовь то не очень разборчива! У Ксении в руке Сашкина «красненькая», он всё ей

уже объяснил, и она с понятием говорит: «Картошки найдём, огурчиков тоже найдём, омулька купим. Да, вот Саша говорил, что нужно спирта, ну и его достану. Так что не беспокойтесь, Саша!» Собираемся уходить, но Ксения тихо берёт меня за руку, смотрит сквозь моё лицо в душу и спрашивает: «Антон, если вы человек, скажите, Сева холост или женат?» Я – человек, но не знаю о нём таких подробностей. Кошу глазом на Сашку, стоящим за Ксенией,– он пожимает плечами, потом отрицательно качает головой. Лицо Ксении выражает грусть, ожидание. Я вспомнил, что из этих элементов состоит часть любви. Говорю, что этот «румяный батон» одинок как Есенинский клён; ждёт – не дождётся, когда его «охомутают». Из всех моих слов она поняла, что он одинок, и синие её глаза подёрнулись влагой и доверчивостью двухнедельного телёнка. «Антон, я только одному Вам доверяю». Может на неё подействовала высота третьего этажа или тридцатиминутное знакомство?! Она так расчувствовалась, что чмокнула меня в губы, сказала: «Благодарю. А об остальном – не беспокойтесь». Скатываемся вниз по лестнице через три ступеньки, Сашка на ходу выкрикивает: «А, я что говорил! Вот видишь на что способна любовь! Эх, зачем я так рано вступил в брак?!»

….. Собираемся к шести. «Пентюх» достал, вернее,– ему передала Ксения, две штуки градусного. На этикетках значилось: «Спирт питьевой, 96 %». «Если перевести на мягкую пахоту, то грамм по четыреста придётся на пятнадцатисиль-

ный трактор», – говорит Сашка, до авиации имевший дело с землёй. Он ухмыляясь разворачивает серую бумагу, и мы видим две коробки, перевязанные голубенькими лентами, конфеты «Василёк» – великая редкость в то время. «Марии Ивановне и ещё кое-кому. Всё равно «Рекорд» не покупать, да завтра и домой двинем». Приходят Ксения и с ней Тамара – высокая шатенка лет двадцати четырёх. Глаза – густо-серые с поволокой, ресницы – мохнатые, как гусеницы кедрового шелкопряда. Тамара так владеет ими, открывая широко, щуря, кося, закрывая в щелочку, с удивлением распахивая, наполняя истомой, серьёзностью, испугом и лаской, что на неё хочется смотреть не отрываясь и думать – чёрт возьми, как это она умеет! Они опорожняют сумки, на столе появляются кастрюли. В голубой – картофель, полит подсолнечным маслом, от чего чуть желтоват, поверху разбросаны колечки лука. Парит. В белой – квашеная капуста с глазками моркови, наверху – большие пупырчатые огурцы с белыми носами. «Нет, это ещё не всё, – говорит Ксения, – на деньги мы купили вот это!» По духу сразу видно, что в бумаге – можно и не разворачивать. «Немного колбаски, хлеба, конечно, и себе – две бутылки ситро «Пчёлка». Не возражаете?» «Это всё – Ксюша. Огурцы мы давно съели, капусту не солили», – щуря свои восхитительные глазки мурлычет Тамара. Сашка вынимает из тумбочки коробку конфет и преподносит Тамаре. Та по одной равнодушно отправляет в рот. Ксения вопросительно смотрит на Севку, – тот прозаичен, как свежее

вырванный буряк. «Пентюх» сел на койку, Ксения – напротив рядом с Тамарой, едят конфеты. Но Ксения не сводит взгляд с розового лица Севки, отрешившись от мира. Я понял, что не было бы Севки, стол выглядел бы куда скромнее. Да, я не ошибся там наверху. Она его любит! Пришёл Иван Петрович, Иван – Степь, не пришла Мария Ивановна. Она передала нам поздравления об окончании учёбы, пожелания здоровья, но не хочет видеть нас пьяными, чтобы не думать о нас плохо. …. Первым «вышел» весь «Пентюх». Он поискал глазами куда бы лечь, до своей койки не дотянул,– его «питьевой» уложил на Сашкину. «Готов – сказал Иван Петрович – Богатая смесь – заглох!» Севка лёг неудобно,– воротничок рубашки глубоко врезался в горло, и он начал хрипеть. Конечно, с ним бы ничего не случилось – похрипел бы и перестал. Но Ксения испугалась, стала его поправлять, ей это не удавалось, не могла она расстегнуть и воротник. Тогда она взяла нож и срезала верхнюю пуговицу. Храп прекратился. Ксения к столу не вернулась, она нависла над Севкой, облегчала ему сон, прикладывала мокрое полотенце к его пунцовому лицу, дула на него, и он стал причмокивать губами. Потом вышел из строя Иван- Степь. Он пел про синеглазую Сенильгу на русско-бурятском наречии; мы ему подпевали. Но вот он оборвал песнь «Люблю тебя, мой друг Байкал», обвёл нас жёлтыми, с дымчатым ободком глазами, сказал: «Мера знай, честь знай»,– и сложил «крылья», уткнув голову в спинку кровати. Мы пели все те же милые сердцу сибир-

ские песни: про Баргузин, чтобы он пошевеливал вал, про глухую тайгу, лётную, «летят утки и два гуся»….. Разошлись не поздно. Иван Петрович унёс подарок с нашими пожеланиями Марии Ивановне, расцеловал нас, назвав – «эх, вы бродяги, бродяги!» Это нас растрогало, Сашка встал на колени и начал всхлипывать. Ушёл Иван Петрович, оставив в нас может не заметную любовь, но долгую память. Сижу в грустном « равновесии». Саша всё стоит на коленях держась за стул. Его поднимает Тамара, подходит Ксения, и они втроём уходят к себе на третий. Севка беззаботно посапывает, облизывая свои «сардельки»– видно хочет пить. Не помню, когда вернулся Сашка, только в тишине что-то мягкое, большое шлёпнулось на пол. Зажёгся свет, у выключателя стоял Саша в трусах. Я и Самсонов приподнялись в койках и смотрели как «Пентюх» на четвереньках ползёт к двери. «Ты это куда?» – спросил Сашка. «К женщинам» – не поднимая головы изрёк Севка, переходя на пластунский. «Вернись!» Севка мотает головой, толкает дверь лбом и исчезает в коридоре. «Что поделаешь,– любовь! Эх зачем это я так рано вступил в брак ?!» -гася свет вздыхает Сашка….. Утром тётя Юля ворча и звеня бутылками убирает со стола; будит меня и Самсонова, говорит, чтобы мы сходили за «Пентюхом», а то он может попасть на глаза начальству. Севка лежит на «Суздальском», под головой меховая жилетка, накрыт оренбургским пуховым платком, из под которого торчат ступни с синими пятками. Обе руки сцепившись охватили замок.

Нам показалось ,что Севка прикован к сундуку. Открылась дверь коммутатора. На цыпочках вышла Ксения. Приложив палец к губам она тонко прошипела : «Т-с-с-с». Поправила платок, натянув его на пятки, зачем- то проверила замок, заперт ли. Сказала : «Пусть отдыхает», – и взяв нас за руки повела вниз. «Всеволод никуда не поедет, его оставят здесь инструктором, этой ночью мы так решили». Мы распрощались, и она пошла по кошачьи тихо наверх. Сделав несколько шагов вниз Василь обернувшись спросил: «А замок на сундуке – твой?» «Т-с-с-с» – грозя нам пальчиком, скрылась за дверью Ксения. Когда мы вернулись, тётя Юля мыла пол. Опустив тряпку в ведро, она вопрошающе смотрела на нас. «Он на замке!» «Как это на замке? Посадили что ли? Я только что видела, как он там спал.» «Он и сейчас спит там , но прикован.– грустно сказал Василь.

Поезд отходит в семь вечера, в кассах билетов давно уж нет. Стоим на перроне. Придётся ехать «зайцами». Идём вдоль состава чумазых вагонов, приглядываемся к проводникам. И сразу бросается в глаза добродушное с седенькой бородкой сердечком лицо, как у апостола Павла. Проводник с шуткой провожает пассажиров в вагон, некоторых похлопывает по спине как друзей. Не успели мы остановиться против дверей, как его бесцветные глазки сразу заметили нас, и он согнутым пальцем поманил к себе. Мне показалось, что он поддел нас на крючок. «А, пушистые, проходьте!»– Максимова он пропустил, похлопав по спине, а мне сказал – «Ты,

сынок, сходи-ка принеси парочку на первый случай, а то в ночь буфеты будут закрыты, взять негде. Смекаешь?» Я кивнул и метнулся в вокзал. Когда вернулся, у вагона стояла Марго. Было прохладно, на ней чёрный костюм, ажурная белая блузка, как тогда на экзамене. С милой улыбкой взяла она меня за руки, в которых было по бутылке, и начала чмокать в губы. Глаза её были тёплыми, с ясной глубинкой, ресницы дрожали. «Вот пришла тебя проводить, Антон….» В окне вагона торчали расплюснутые носы Сашки и Василя. Я стоял молча. А что было говорить? Она щебетала как скворец у гнезда: «.. что у меня всё уже прошло – стало на место, да и к лучшему. А ты оказался хорошим парнем». Она говорила и смеялась так искренне и простодушно, что и у меня улыбка поползла к ушам. «Ну вот ещё тебя разок за всё хорошее»,– и опять чмокнула меня. «А ты знаешь, Антон, я замужем!» Она отошла, повернулась, помахала рукой в чёрной перчатке и пошла, как-то гордо и счастливо. Чёрт меня знает, ведь я не сказал ей ни слова! Всё смотрел ей вслед и, почему-то, на её руки в перчатках. «Эй, сокол, ты что там, примёрз? Давай в вагон, – скоро отправляемся». Когда я взялся за поручень вагона, то видел, как в соседний входили Федотов, Вьюшкин, Крамер. «Апостол» спросил: «Ваши? Жалко их. Вот Прокопич обдерёт как белочку – умеет снимать шкурки с «пушистых». Даже вон на Забайкальской дороге таких нет. А уж там зайчатники – не дай господь!» Мои друзья лежали на верхних полках, я забрался туда же. С Сашей

нас разделяла низенькая перегородка.

– Сам не знаю, почему Тамара не пришла, и почему так в жизни получается – не успеешь жениться, как попадается лучше. Можно взять Тамару, а куда.. Уже одна есть. Жалко её

– Кого её?

– Тамару, да и жену жалко, и самого себя тоже

– Самого себя-то за что?

– А как же, может всю жизнь придётся тужить

Сашка опускает голову, смотрит в сучок доски думая как быть. До отправления минут пять. К удивлению третий ярус забит до отказа; вторые и нижние полки пустуют, пассажиры на них вольготничают. А в кассах давно билетов нет. Угадав мои мысли и обладая химической реакцией разложения жизненных элементов, Василь сказал: «Тут, видно, идёт свободная охота, то есть, конкуренция на социалистической основе между проводниками смежных дорог – Восточно-Сибирской и Забайкальской. Итоги в газетах не публикуются ввиду секретности материала». Чувствую – кто-то дёргает за ногу. В вагоне красноватый полумрак. Внизу стоит «Апостол» с фонарём и крючковатым пальцем манит меня. Спускаюсь, смотрю на часы – едем около двух. Входим в служебное купе, лампочка здесь поярче. На столе – колбаса, синеватые, как утопленник, огурцы, сало, хлеб. Сидят двое. Один – не дать не взять – наш проводник. Уж не брат ли ? Второй – с усами, бритой головой, в очках с роговой оправой. Вроде, научный

работник, – читает «Экономическую газету». Апостол представляет меня старшему: «Пал Свиридович, – это «Сталинский сокол» и зачем-то как воображаемыми ножницами перебрал пальцами. Мне показалось, что так прядуют ушами зайцы на жировке. Старший грустно посмотрел на меня, потом перевёл взгляд на закуску. Я сходил за бутылками, Апостол быстро разлил на три стакана. Они выпили и стали степенно закусывать. Я хотел уйти, но Пал Свиридович остановил меня вопросом: «Ну как вы там? – он указал пальцем вверх, -всё летаете? И бога не боитесь?» «Всё летаем. А чего его бояться, он – свой мужик». «Это вы зря. А то он – того !» Усатый отложил газету, взял вторую бутылку, с одного маха выбил пробку, разлил на троих, выпил один и со скучающим видом опять развернул газету. Апостол стал на колени и приложился ухом к полу. Вот он отнял ухо, поднял палец вверх и с тревогой спросил: «Слышите?» Пал Свиридович и усатый дружно кивнули головами. Я слышал только перестук колёс. « Да не то. Ты послушай!» Я нагнулся к полу, но нового ничего не услышал. «А ещё – лётчик! Не можешь различить. А вот мы слышим». И опять, те двое, кивнули головами. Апостол ещё раз приложил ухо к полу, встал, отряхнул колени, горестно покачал головой и сказал: «Колёсики-то, бедные, как скрипят, аж за сердце берёт! Да, надо их смазать». Апостол, Пал Свиридович выпили, Пал Свиридович бросил в рот пол-огурца, зажмурился. Усатый читал «Экономическую газету». Наш проводник сел, опустил голову и, видимо,

прислушивался, не перестали ли скрипеть колёсики. Им было скучно. Водка была выпита вся. Сколько же им надо!? …. Мои мысли прервал Пал Свиридович: «Мы-то что! Вот на Забайкальской – орлы, стервятники. А мы-то – так, мелкая птаха, стрепеты- подсокольники. Конечно, шилом море не нагреешь, а проводнику пить-кушать надо». Я ушёл, за мной шагал Апостол. Он дружески похлопал меня по плечу, когда я взлетел на полку. Потом он дёрнул за ногу Василя, тот свесился и я увидел, как крючковатый палец манил его. Поезд подходил к Черемхово. Часы в полутьме показывали начало шестого, шла проверка билетов. Пал Свиридович щёлкал инструментом, похожим на сахарные щипцы, делая дырки в билетах. Апостол со своим подслеповатым фонарём взлетал под потолок, оттуда просил у Пал Свиридовича «инструмент», и было нам видно, как перед тусклым фонарём встречались руки, щипцы впустую щёлкали воздух. После такого щелчка Апостол изрекал: «Готово». Если верхний пассажир долго «не просыпался», то туда для усиления контроля поднимался третий – усатый. У него из кармана торчала газета, он поправлял очки, и мы слышали бас: «Предъявите билет, гражданин!» Шла стрижка поголовья, как выразился Сашка. И только в последнем купе, у потолка в углу кто-то заблеял: «У меня нету». «Да как ты смеешь так ездить?! – гудел усатый. – А деньги хоть есть?» «Нету». Кого–то сняли, вывели в тамбур, старший сказал: «Сдать на первой остановке». «Один настоящий зайчишка попался. Как они его проморга-

ли?!» – хихикал Сашка. Обратно в своё купе прошёл хмурый Апостол, усатый с Пал Свиридовичем прошли в соседний вагон к Прокоповичу. Я слышал, как проводник приходил за Сашей. Значит была станция Зима, и я в тревоге думал, что опять мой черёд. Если и дальше так пойдёт, то денег до дому не хватит. Не успел я высказать свою мысль другам, как они упрекнули меня в долгодумии. «Уходить – немедленно, можно даже выпрыгнуть на ходу через окно, а то они нас обдерут. А ещё говорят – вот на Забайкальской!! Не уж-то там хуже ? Ох, как обманчива внешность человеческая!» – резюмирует Саша. «Как там у Маркса: что форму от содержания нельзя отрывать? Ошибся старик маленько». «Потому ошибся, что тогда железных дорог мало было – опыта он не имел» – вставляет своё Василь. Днём проводники спали, только изредка усатый прохаживался по вагону. Солнце садилось туда, куда мы мчались. Вечереет, поезд стучит на стрелках, мы-готовы. Шипят тормоза, пахнет калёным железом, вываливаемся из вагона, за нами ещё двое кержаков. Откуда ни возьмись – Апостол. Он распростёр руки, пытаясь остановить и загнать нас в вагон. Василь ставит чемоданчик и ловко выхватывает из его руки фонарь. Идём по перрону, Апостол семенит за нами и слезливо просит: «Соколы, отдайте. Зачем он вам?» Прошли шипящий паровоз, он отдаёт жаром и нефтью. Из будки удивлённо смотрит машинист, подкручивая подкопчённые белые усы. Конец перрона, останавливаемся. Василь размахивается, – хочет забро-

сить фонарь. Проводник охает и закрывает лицо ладонями. «Деньги! – Апостол быстро лезет в карман, протягивает червонец. – Мало!» Нехотя достаёт ещё один. Василь смотрит на фонарь, зачем-то вынимает свечу, берёт деньги, фонарь ставит на землю. Проводник хватает его, как коршун цыплёнка, прыткой рысью бежит к вагону, слышим как говорит машинисту: «Всё играют, фонарь отняли. А ещё « Сталинские соколы !!» Василь смотрит на десятки: «Вот видите, часть вернул! Жаль, вагон-то в центре поезда, а то бы отцепить его – всё бы отдали, спарагусы!» Паровоз свистит, крутит колёсами, беря разбег. Проплывает вагон, в двери – «Апостол», на нас не смотрит. Пахнет хвоей, курным углём, карболовкой-запахом странствий. Заря потухла, идём в вокзал и неожиданно встречаем там Вьюшкина, Федотова, Крамора. Последние двое приехали домой. Петро спешил – не было терпежу. При виде нас Крамор становится на колени, прикладывает ухо к полу, поднимает указательный палец вверх:

– Слышите?

Мы дружно киваем головами.

– Ах, бедные колёсики, как скрипят-то, смазать надо.

– Шилом моря не нагреешь, а проводник пить- кушать хочет.

– Мы – что! Вот на Забайкальской – орлы-стервятники!

– А мы – мелкая птаха, – заканчиваю я.

– Интересно знать, члены ли они профсоюза или просто так – безбожники, – глубокомысленно замечает Саша.

Садимся на обшарпанные диваны с буквами на спинках: В-С-Ж-Д и погружаемся в задумчивую неизвестность.

Вторая половина мая, – последние дни перед открытием летней навигации. Игарка подтвердила, что лёд прошёл, но на акватории многовато плавника. С двадцать пятого будет принимать. В Красноярске на Абаканской протоке на бочках пришвартованы красавцы Г-1, в плотах и на пирсе – беленькие МБР- 2. В столярной мастерской столяр Иодловский заканчивает ключ для Игарки . Это старая традиция в поляр-

ке. Для каждого гидропорта делается деревянный полуметровый красивый ключ, в ушке которого висит бирка с наименованием гидропорта. При получении, что порт готов к работе, вылетает комиссия, забрав ключи. Комиссия, определив годность порта к эксплуатации, в торжественной обстановке вручает ключ – символ открытия навигации. Так, завтра будут вручены ключи Енисейску, Подкаменной Тунгуске, Верхне-Имбатску, Туруханску, Игарке. Позже – Дудинке и Диксону – каменистому острову, забытому богом, но не лётчиками.

Сегодня зачитка приказа об открытии гидропорта Красноярск, разбивка по экипажам, закрепление по самолётам. Торжественный день! Но пока – сидим у тех-балка на скамейках. В середине – бочка с водой для окурков. Их редко туда бросают. Рядом стоит коза Машка с красивыми чернобровыми глазами- ждёт. И каждый старается оставить «бычёк» побольше, чтобы дать ей. Не успеет окурок упасть рядом, Машка сразу тушит его с шипом слюнявя языком, потом перебирая тонкими губами отправляет в рот. Мы иногда балуем её, разломив две-три папироски, даём душистого табачка. За это нас нещадно ругает её хозяин – Ян Степанович Липп – старейший пилот Управления, живущий на острове: «Опять пить молоко нельзя, ну что с ней делать?» На острове все знают, что коза любит табак. Ян Степанович хотел продать Машку «хоть за сколько», но покупателей нет. В тени черёмухи, выбросившей свои метёлки, в терпеливой по-

зе стоит козёл по кличке «Амортизатор», рядом бродят двое козлят – его дети, а может, других родителей. Коз на острове – уйма. На «Амортизаторе» длинная грязная шерсть, борода, рога и копыта выкрашены чёрным лаком, на боках красным эмалитом – надпись: «Ц.А.Р.Б. Мельников» (центральная авиаремонтная база). Козёл принадлежит её начальнику. Это сделали технари, чтобы не потерялся. Козёл воинственен и назойлив, крайне не любит женщин, особенно, когда им приходится нагнуться, чтобы поправить носки или туфли- сразу идёт в атаку. Но технарей чует по запаху и боится. Иногда они его ловят, хотя это и трудно. В этой «забаве» с охотой участвуют и летуны. Поймав, из шприца опрыскивают бензином соответствующее место. После чего «Амортизатор», как ошпаренный носится по острову с блеянием, похожим на сигнал пожарной машины. Поэтому сейчас он стоит в отдалении, зная коварство техников. Теплынь такая, что размягчает человека как воск. Сидим, переговариваемся, смотрим на синий в дымке Такмак, торчащий зубом в просвете домишек. За протокой видна насыпь железной дороги, по которой с грохотом и рёвом несутся товарные составы с востока.

– Что-то часто идут. Вроде, неделю назад не так было, – говорит стройный как девушка лётчик Кузнецов по прозвищу «Чилита».

– Вчера вернулся Тихонов из Москвы – «ПС-9» гонял. Встретил немца из «дерлюфта», знакомого – ведь Иван-то

летал в Берлин. Говорит, что прошёл Фогель рядом. Он ему – «гутен таг», а немец даже глазом не моргнул, вроде не знакомые. Только руками невзначай крест сделал. Раньше бир тринькали вместе, а этот раз даже не остановился, – говорит Иван.

–Да, что-то не то! Неужто драться придётся?»– со вздохом сказал бортрадист Дзюба.

– А знают ли там?,– показал куда-то на запад Осаднов…

Почти месяц отлетали без происшествий, если не считать, что у Ветрова при подлёте к Имбатску вырвало свечу. На «МБР-2» моторы стояли с толкающим винтом, свеча попала в винт, оторвав конец лопасти, который пробил гаргрот и убил фельдъегеря. Мотор затрясло, Ветров убрал обороты, развернулся против ветра и приводнился на Енисей – благо аэродром всегда был у нас под носом. Минут тридцать продрейфовав, он причалил к Имбатску. Привезли другой винт, залатали гаргрот, сделали тяжёлый лиственный, не гниющий в земле гроб, положили в него фельдъегеря и отвезли в Красноярск, где тело предали земле. И никому – ничего! Что поделаешь, – усталость металла.

Всё-таки хороша гидроавиация! Аэродромы – везде, пыли нет, свежесть над водой. Пассажир был терпелив, как сам Христос, нетороплив – подстать скорости. Если не было погоды, или лётчики были, так сказать, не в «духе» иль в сомнении-неуверенности, иль сидели за пулькой день–два, а может и больше – пассажир не роптал, не требовал книги

отзывов, не писал министру, так-как тогда ни книг таких, ни министра, слава Богу, не было, а терпеливо ждал. И вот когда надоест всё это лётчикам, то тогда они попрут и плевать им на всё. Эх – хо – хо! Раньше пассажиров возил лётчик . Спросят – с кем прилетел? – с Веребрюсовым, Задковым. Кто привёз ? – Ваха Смирнов, Мальков, Володя, Осадин. Бывало полногрудые, горячие, как самовар, девчата под звонкую «гармазу» – ливенку страдали по всему плёсу Енисея: «Скоро-скоро к нам примчится краснокрылый самолёт. Там радистом – Аникеев, Миша Чемерев – пилот.» Сейчас пассажиров доставляет самолёт. «Кто привёз?» – малогабаритный лайнер «АН-2», «ТУ», «ИЛ» . «С кем прилетел?» – с Валей, Клео, – львицами воздушного сервиса, конфеты дают, чтобы не стошнило. Ревёт радио: «Леди, джентльмены, романтики энд прочие, пройдите на посадку в самолёт. Спасибо за внимание, сэнк ю». Ревёт у трапа геноцвале:

– Па-чиму не везёшь, па-чиму стоишь? Буду писать министру! Раньше привезёшь – дольше в «Арагви» с друзьями сидеть будем . Па-чиму стоишь, а ?

– Время по расписанию не вышло

– Какое время? Панимаешь, друзья ждут

..А раньше! Ах, опять это милое, прекрасное раньше. Тогда и волна была лучше, чем сейчас. Бывало, сядешь на вынужденную, причалишь «МБР-2» к бережку, отдашь якорёк. Бортмеханик скажет, что в моторе валик срезало, или клапан оборвался. Дел-то на дня три. Пассажиры рады. Разбредутся

по тайге, другие возьмут удочки; на борту они всегда были, а кто в деревеньку пошёл, в сельмаг. Глядишь, часа через три-четыре закипает ушица. Из аварийного запаса достаём посуду, снедь. На запах ушицы собираются все, каждый знает при этом, что от него требуется. Пассажир был всегда запаслив, как поездной дальнего следования, и не думал, что его обязаны кормить. Прилетит другой «МБР-2», привезёт запчасти. Пилот скажет: «Пересаживайтесь, – а пассажиры в один голос – Мы на своём полетим! – Так это не скоро! – А куда спешить? Хоть здесь отдохнём». И опять разбредутся кто-куда: кто загорать, кто с любовью в тайгу от глаз. Удивительный был пассажир!

Сегодня – лекция о международном положении. Любят их слушать, а особенно – читать. А тот, кто читает делает вид, что всю хитрую механику акул капитализма отлично знает, как курица свой курятник. Замполит Орлов – в полуболотных сапогах, кожаных брюках, синий китель на руке, в голубой майке. А жара – градусов двадцать пять, но «жар костей не ломит!» Лежим в тени ангара, ветерок теребит листву огромных тополей. Они шепчут успокаивающе, и сонливость забирается в тело. Енисей работает: слышны гудки пароходов, шлёпанье плиц. Вон – «Красноярский рабочий» тянет снизу караван обшарпанных барж. Идёт медленно, величаво, пуская колечки дыма от дизелей, как задумавшийся курильщик. Мечутся как стрижи катеришки. Вижу понтонный мост, похожий на гирлянду сарделек. Правее часовни,

на Красной горе – купол, сожженный молнией. Мне думается, что город назван в честь яра, лежащего у этой горки, где видна кровянистая глина. Красный яр – правильно. Но если бы назвали Ветропыльском, то тоже бы не ошиблись… Подходят командир отряда и какой-то бесцветный, узколицый в пенсне, с длинными волосами. Подмышкой – брезентовый портфель, как у заготовителя потребкооперации. Рядом кто-то замечает: «Фигура-то ламанческая, послушаем, о чём будет кудахтать». Портфель положен на столик, лектор пьёт большими глотками воду и его кадык ходит вниз-вверх, как шатун. «Товарищи, лектор общества «Знание» товарищ Тросниковский, прочтёт о событиях в международной жизни», – беря стакан и машинально допивая остатки, сказал Орлов. Лекция всем понравилась. Во время её Тросниковский часто протирал пенсне, потел, много пил. Зачем-то открыл портфель, в нём виднелась помятая соломенная шляпа. Первый вопрос задал бортмеханик Соколенко – «я кажу» – как мы его звали. «Я кажу, товарищ лектор, а хвашисты на нас первые не нападуть?» Лектор поморщился, передвинул портфель, от чего шляпа сама вылезла из него и легла, расправив поля. Тросниковский удивлённо посмотрел на неё, как на живую. «Во-первых, как ваша фамилия?» – «Я кажу, Соколенко». – «Так вот, товарищ Соколенко, нам рекомендовали не говорить фашисты, а – национал-социалисты. Это последнее указание. Да и не все немцы – фашисты, то есть национал-социалисты. На нас они не нападут, у нас с ними

договор о ненападении с тридцать девятого года. Есть торговый. Продаём им нефть, хлеб, руду, лес, кажется, сало-шпиг. Не нападут, им не выгодно»,– криво улыбнулся Тросниковский. Встаёт коренастый, угловатый техник Заруба, делает несколько шагов к столику. «Как же это понимать? Считай с тридцать второго года, везде коричневая чума, фашизм . Да как она расправилась с коммунистами, а теперь нельзя говорить, что они – фашисты. Не рекомендуют! Кто не рекомендует, ты скажи –кто? Может боимся их обидеть, а ? Скажи, кто не рекомендует». Заруба отличный технарь и товарищ, и мы тоже переживаем его негодование по поводу быстрой перемены в обращении с матерым хищником. Лектор дёргает тонким носом, трёт чистые стёкла пенсне, молчит. Следующий вопрос задал Смирнов, высокий горбоносый лётчик, с серыми, глубоко посаженными глазами, вставными передними нержавейными зубами. Справедливый мужик этот Ваха! «Вы вот перечислили что мы продаём этим социанали-аналикам, а не сказали, чем они нас балуют». Лектор явно не знал, что Германия поставляет нам, или был выбит из орбиты нападением Зарубы, и долго рылся в памяти. Тишина висела над нами, и она всё уменьшала и уменьшала значение бойко сказанной лекции. «Машины, химикалии», – неожиданно вырвалось у лектора, и он повеселел. «Чтоо!» – резко произнёс Ваха. «Химикалии, то есть красители», -повторил Тросниковский. «Вот это здорово! Мы им хлеб, руду, сало, а они нам эти самые калии», – негодующе сказал Смирнов.

«Сало – это зря. Я кажу, ну, лес – нехай, его у нас гарно. А сало – зря», – вставил Соколенко. «Так кто они нам, друзья, враги?» – выкрикнул Таран. «Врагов салом не кормят», – ответил кто-то из бортачей. Орлов звонко позвякал по графину, разговоры смолкли, испарились, как спирт, вылитый на блюдце. Орлов начал сглаживать остроту душевных эмоций, что-де сейчас отношения другие, – взаимопонимание. Раз установка свыше, то им виднее, значит, так нужно. «Ну а, как волка можно назвать иначе?– спрашивает всегда корректный лётчик Петров, -Скажите, пожалуйста, товарищ замполит?». Орлов думает и не знает, как. Да, хищник и зверь здесь пожалуй не подойдёт, это – общее понятие. Придётся так и называть – волк. Встаём, кое-кто закуривает, но нас привлекает нарастающий низкой волной гул моторов. Мы видим, как с верхнего аэродрома взлетают огромные «ТБ-3», делают круг, строятся в эскадрильи, и тихо плывут на запад волны гула, придавливая все остальные живые звуки. Мы смотрим на удаляющуюся армаду, друг другу в глаза, на лектора с немым вопросом: «Что скажете?» И только Тырсин Саша, летающий на «ТБ-3», отрешённо промолвил: «Всё братцы, это – война»….

Шёл июнь, было двадцатое число, жаркое лето, остров «Молокова». Были друзья, из которых потом многих не стало, в том числе и Тырсина Саши, сбитого на «ТБ-3» над Финским заливом после бомбёжки Хельсинки.

Сидим с Иваном Петровичем за столиком в ресторане .

Три часа дня, народу не много. Официантка принесла нам графинчик, сыру, затейливо украшенных квадратиками картофеля, кружочками лука и моркови, пять тоненьких, пустивших жирок, кусочков селёдочки. У глаз Ивана Петровича густая сетка морщин, в глазах тусклый оловянный оттенок, как лунный отблеск на застывшей луже. Волосы грязно серые, вроде не мытые. По всему видно, что горе прокатилось по нему тяжёлым валуном, оставив отпечаток.

–Ушла от меня Маша, Антон. И похоронить не смог, о чём казнюсь и скорблю. В лагерях был.

Серая голова Ивана клонится ниже плеч, плечи сгибаются узкой дугой. Видно, что привыкло лежать горе на этих, когда–то широких плечах. Выпили по одной, закусили, чёрные думы начали оседать на дно. Петрович светлеет и начинает говорить о войне. Видимо, ещё долго будем говорить о ней, пока не перемрём все, кто был там.

– Знаешь, Антон, последний сорок четвёртый, да нет, и сорок пятый, летал я на перехватчике, американском «А-20 Ж» -Бостоне, ночью. На борту локатор, уйдёшь в квадрат и лазишь там. Больше своих туда не пускали, системы опознавания тогда не было. Штурман поймает точку на локаторе и командует : «Право, лево, вверх, вниз – огонь!» Жму гашетки, а в кого – не вижу. И сразу – в сторону, чтобы не напороться. Восемь штук ухряпали. Большинство – транспортники «Ю52». Они возили в «котлы» продовольствие, а к нам – диверсантов. За войну сам горел три раза, двух штурма-

нов потерял. Особенно помню Степана Лесного, саратовского парня. Пришли мы тогда с задания, вытащили его из люка, он умирал. Утро ясное, солнце мягкое, золотистое встаёт за крышами посёлка. Жаворонки звенят в выси, как колокольчики, роса крупная на травинках, изумрудная. Положили Степана на траву, у него осколком вырвано горло. Кровь – яркая, пузырчатая загустела на груди. В его раскрытых глазах – потухающая бирюза с каким-то жалостным упрёком, руки скользят по траве, рвут её и несут к горлу. Мы держим его за руки и сами думаем: «Когда же кончатся мученья, скорей бы умер». А сердце здоровое, нет-нет, да выбросит из раны кровяные пузырьки. Эх, Антон, собрать бы в тот миг всех тех, кто ещё хочет войны, пусть посмотрели бы. Вряд ли бы стали думать о ней, как, а?

– Нет, Ваня. Может и подействовало бы года на три, а потом забыли бы и опять за своё . Забывчив человек, когда не с ним это произошло. Тут нужно что-то другое.

– Вернулся домой майором с орденами, демобилизовался, пришёл, откуда ушёл в «Аэрофлот». Стал летать на Дугласе «С-47». Семья оправилась, ребята большие, трудно было в войну на аттестат, но Маша перебивалась. Она ведь, ты знаешь, какая у меня, – как о живой сказал Петрович. Летал в Бодайбо, Якутск . Вот там, в Бодайбо-то начальник радиостанции попросил: «Отвези, Петрович, посылочку, Там тебя встретят, передашь». Разве откажешь, отвозил раза два. На приисках жилось лучше, думал, что из продуктов посы-

лал, а он, гад, золотишком промышлял. Ты наверное слышал про это дело, Антон. Помню, тогда только об этом и говорили на трассе. Прилетел тридцатого декабря, закончил год по-хорошему. Решили с Машей пригласить на завтра экипаж, Ивана-Степь с женой, Севку Анисимова с Ксенией. Всё честь по чести. Проводили «старика», минут пятнадцать оставалось до рождения нового. Налили, нужно передохнуть. Вдруг стук в дверь, такой, что все замерли. Встал я из-за стола, а Маша испуганно: «Кто это, Ваня, так?» Хотел сам открыть, но Маша опередила. Вошли трое, не нужно было гадать, кто это. Сразу было понятно, что они пришли не поздравить нас с Новым годом. «Кто Долгих?» – спросил один и показал ордера. Я отозвался. «Стать к стене, не шевелиться. Остальные могут уйти». Стою у стены, ко мне решительно пробиваются Иван-Степь, Севка, целуемся, прошибает слеза. Растаскивают их, выпроваживают. Часы бьют двенадцать: наступил пятьдесят первый. Следствие тянулось, как тифозная болезнь при которой выздоровление не предвиделось. Собирали даже тех, кто и нюхом не чуял, обсасывали, не спешили, чтобы дело крупнее было. Тогда это было в моде. За соучастие отломили семь лет. Золотишко-то шло за пределы Союза – подрыв мощи страны. А вояку упрятать в «тюрю», это не подрыв мощи? Да если бы и не шло за границу, вряд ли что изменилось . Сам сказал, что возил посылки. А что в них, не знал, так должен был знать. На суде говорю: «Покажите хоть того, которого взяли на ту-

рецкой». Показали. Неделю хохотал. Говорю, что неудачно подобрали, такой дальше нужника ночью не пойдёт. И зачем они это сделали? Кое у кого нашли ! Чеберду помнишь? По трассе гремел. В подоконнике держал, пуд выгребли! Успел застрелиться. И зачем так много ему? Наверно, хотел зубы вставить. Иван Петрович выпил, выбрал пластик сыра, понюхал, посмотрел через дырки на меня, как сквозь решётку, и положил на тарелку. Помню следователя: Зубилов. Он даже ко мне во сне и сейчас приходит. Постоит-постоит, так грустно посмотрит, пошевелит губами и уйдёт. Да и тогда с сожалением говорил: «Мужик ты, Иван, правильный, но сидеть тебе придётся. Как пить дать. Что поделаешь, дело такое поганое, с золотом связано…

– Тянули мы нитку пути через зелень-ад, снежную-дурь к Лене. Попал я в бригаду к ремонтникам механизации. В первый день дал мне бригадир обрубить зубья шестерни после наварки. Зажал в тисы, бью, больше по руке, все мосалыги посшибал. До обеда еле одну осилил. Пот забил глаза, устал, не отдышусь. Слышу кто-то дёргает. Бригадир: «Дай». Подошли ещё ребята. Бригадир деловито зажал, обрубил, опилил, вынул шестерню из тисов, подал мне. Смотрю- как новая. «Не слесарь ты, Иван, хоть и назвался». Не говорил в лагере, кто я. Стыдно. Однако там быстро узнают, кто есть кто. Утром, через день, подозвал меня бригадир: «Вот что, Иван, будешь держать огонь в печке, как на паровозе. И чтоб чайник на ней всегда живой был! Понял? А

план твой мы заделаем». К обеду доведу печку до вишнёвого цвета; чайник парком вздыхает. Соберутся к печке кочерыжки, а не люди, каждый нальёт во что кипяточку – редко с заваркой. Я иногда пихточки брошу иль из-под снега добуду листьев брусники. Они всегда зелёные, разварятся – запах!.. Разомлеют души чёрные-лагерные, и пойдёт рассказня. Андрей – молодой, чернявый, непоседливый, как бурундук, крепыш-«пятнадцати-сильный пасешник», трусится от озноба, хватает кипяток и рассказывает: «Заделали мы войну в Венгрии. Городишко уж не помню, на «вориш» кончается. Вымылись, выспались, три дня нам на «шухер» дали, чтобы пары стравить, и баста. В гарнизон за ограду – часовые у ворот. Аж обидно до пяток, победители, а сидим за сеткой. Напротив нас – ресторан, окна открыты, ведь весна кругом, и оттуда музыка. Скрипки так и выворачивают душу, что портянку. А у меня мысль как часотка: гранату им туда кинуть. Хоть пропади, не могу ни есть, ни спать. Нужно кинуть и всё! Сколько я этих гранат за войну попортил, что блох на сучке. Приноровился ещё со Сталинграда – в окна. Кинешь её, а сам к стенке. Вздохнёт она там глухо, как кит. Думаешь, что от такого вздоха ничего не получится. Ну нет, братцы. Взрыв небольшой, а делов – страсть! Осколками всех посечёт, а потолок приподнимет и кто не добит, того придавит, и – порядок. Так вот, обида ли во мне заварилась, или болезнь такая в человеке бывает, но присматриваюсь, где встану, как брошу. Получается всё хорошо. Только вот

за углом, куда после броска податься нужно, не просматривается. И поделился я со своим другом-разведчиком Федей Фелюкиным обо всём. Схватил он меня своей лапой за горло и держал до тех пор, пока я ногами сучить переставал. «Ну что, успокоил я твою мысль, а? Отдышался и говорю, что не успокоюсь, пока не сделаю. «Ну ляд с тобой, придётся парой, так надёжнее. Один засыпешься». В лагере беседы идут обстоятельные, со всем смаком, спешить некуда, каждый знает, чем располагает. Слушают и не слушают, но делают вид. А у самих колёсики обратный ход отрабатывают, думают до крупинок о решённом. «Достал я пару гранат, спрятал у боковой стенки нужника, приметил: положил пару половинок кирпича. Запалы – в кисете. В воскресенье места себе не нахожу – скорей бы вечер. « Ну, что мечешься, как кот по чердаку! Повремени» – говорит Фёдор. Отпустили почти всех, караульный взвод остался, последний выходной в этом «ворише». Пошёл я с Петром Ловягиным, подцепили мы двух тощих венгерок, вертлявых, как сороки, Они по нашему нини, мы по ихнему тоже. Но договорились. Разошлись. А без пятнадцати одиннадцать я уж вложил запалы. Фёдор за углом. Если всё в порядке, то огонёк его цигарки сверху-вниз, подождать – по кругу. Окна распахнуты, на свет летит какая-то прозрачная букаха, скрипки ноют цыганское, говорок идёт. На часах без восьми, смотрю за угол, огонёк по кругу идёт. Ага, вот он пишет прямую. Размахиваюсь, одну – в глубь, другую – в сторону скрипок. Рвануло почти разом,

глухо, как в бочке, только шторы с дымком наружу выдыхнуло. Бежим, опоздавших много. Поверка, мы вовремя. И тут такая благодать на душе, вроде на душистом сене выспался. Утром говорят – семнадцать человек, оркестр – под чистую, на высокой ноте оборвали. «Да! Будут теперь дела. Рядом с нашей частью!! Если бы недельку раньше, то обошлось бы, а теперь вряд ли», – сокрушался наш ротный. А дел пока и не было. Прошёл понедельник. Во вторник мы «случайно» в курилке встретились с Фёдором. Он свои «керзачи» кремом наскипидаривал, аж в нос било. «Будешь?» – спросил он меня. – Нет. Всё равно с обеда грузиться будем, не к чему, запылю.– Перед обедом ротный выстроил нас, вывел на плац. А там уже весь батальон гудит. Смотрим, перед первой ротой идёт наш батальонный, майор какой-то и венгр-военный впереди их, с чёрной собачонкой на длинном поводке. Собачонка быстро семенит у ног солдат. Прошли роту. – Вторая рота, смирно.– Это нам. Замерли. А собачонка бежит, словно катится; ножки маленькие, морда длинная, вся в курчавой щетинке, глаз почти не видно. Такая милая. Кошу глазом и никакой мысли. Вот она пробежала Фёдора, дёрнув носиком от его сапог, добежала до меня, вроде запнулась, подняла на меня мордочку, отошла шага на два и села против. Глаз с меня не спускает, хвостиком нервно помахивает. Глянет на венгра и опять на меня, вроде хорошего знакомого встретила… На трибунале – знать ничего не знаю. На душе спокойно. Да и когда срок дали, не переживал. Пред-

седатель суда, полковник, смешливый мужик, говорит: «Ты что думаешь, божья тварь может ошибаться? Она ведь без корысти, это тебе не человек. Скажи спасибо, кое-что учли. А то бы – амба! Выдумал гранатами баловаться. До сих пор думаю, как эта дворняга меня «наколола», или где маху дал. Вот ты, Иван, лётчик, объясни, есть ли такая болезнь, какая у меня была». «Маху ты, Андрей, дал, что не нагуталинил сапоги. И болезнь такая есть, паршивая. Всё равно заставит сделать, что задумал – «навязчивость идеи», ну, вроде как психическое».

Глотают, не чувствуя ожогов, кипяток, чуть помолчав, просят: «Расскажи, Иван, как фрицу духу давал». Знают, что перехватчиком воевал, не раз рассказывал о тех, кого потерял, кто жив остался, о семье. Но ни разу не спросили, как золотишко помогал переправлять туркам. Не верили в это, потому и не спрашивали». Глаза Петровича оживают, добреют. Улыбка говорит о светлых минутах лагерной жизни, где в пучине карающей суровости тоже жила вера в человека. Никуда я не писал, хлопотала Маша. Везде была. Если бы был бог, к нему и то съездила бы. Только после трёх лет разобрались и реабилитировали, а Маша не выдержала.

Хмель нас не брал, видно души покрылись толстой коркой житейской окалины и для размягчения их требовалось ещё. Поэтому взяли второй графинчик, опять же сырку, селёдочки и колбаски. Выпили. Почему-то молчим, а молчание – враг встречи…

–Прорубил наш «Северо-Западный» узкий коридор в Демянской группировке немцев, окружили армию фон Бока по Поле и Ловати и соединились с Калининским фронтом. А он, гад, как сидел в тепле по деревням, так и занял круговую оборону и не побежал на запад. Нас, транспортников, бросили в этот коридор возить боеприпасы, сухари, кровь, газеты, да всё, что необходимо. А оттуда – раненых. Коридор – что горлышко у бутылки. Летали низко, он даже из миномётов нас бил, а ещё хуже – пехота, насквозь с двух сторон прошивал, и кто кого окружил –не понятно. В том коридоре Гришу Отрыжко и сожгли. Сашу Максимова убили позже, в марте. Лежим мы с ним на топчане, на дворе хмурое утро, снег хлопьями, видимости никакой. Летуны в другой комнате в картишки режутся, с осторожностью, чтобы командир не заметил. Мы с Сашей кое о чём говорим, грусть успокаиваем. Вдруг он ни к селу, ни к городу: «Антон, чувствую, что сегодня меня убьют, так что сапоги хромовые возьми себе, в память». Меня аж в дрожь кинуло: «Кого вперёд убьют – не известно. Пожить нужно. А сапоги носи сам, ты знаешь, мои не хуже, ведь на Руднике брали вместе». «Нет, видно, так будет, чувствую душой». «Скоро – не сейчас, Сашок. Поживём – увидим». Посмотрел я на него: он лежал закинув руки за голову, шевелил одними губами и какой-то был уж не живой, а тень. «Ну хоть напиши семье тогда». Чтобы прекратить разговор, я встал, хотел сходить к ребятам, но подошёл к окну и обалдел, снег прекратился, синели верхушки елей, чуть ле-

вее, в просвете их угадывалась ясно стоянка самолётов, где ходили технари. Сердце моё почувствовало, что это не к добру. Я не слышал, как вошёл начштаба, только воспринял голос Максимова: «Я готов». Он встал, натянул комбинезон, унты, шлем, взял краги. Протяжно и грустно посмотрел на меня: «Ну всё, Антон, дай руку». Я слышал, как протарахтел мотор, опять навалилась тишина и беспокойство.

–Человек чувствует свой конец. Иной не выдаёт себя, а иной – вот так, – вздохнул Петрович,

– Саша повёз приказ в штаб армии, в деревню Кувизино. Это от Валдая влево. Перед Валдаем напоролся на «Хенкеля», тот болтался вдоль дороги. Взять его было не чем. Валил густой снег, и он разбойничал, сжёг полуторку. В это время ему подвернулся Саша. «Хенкель» подошёл вплотную и с турельных сжёг безоружный «С-3». Там Сашу и схоронила дорожная команда.

– Ты помнишь, Антон инструктора Никитина? Всё ещё говорил : «Дома-стены, а тут – природа». «Наливай, Маша щец!» Странно погиб. Гоняли они «ДБ-3ф» из Комсомольска-на-Амуре. Под Удинском во фронтальную грозу влезли. Шла их девятка. Что делать? Горючего в обрез. Тут уж сам соображай. Все знают, что это опасно влезть в грозу, но не безнадёжно. Развалила гроза две машины и из них Сашину. Видели купола парашютов, падавших в тайгу. Его экипаж на третий день, а второго «ДБ-3ф» – на пятый день выбрались из тайги. А Саша, как в воду канул. Слух прошёл, что

его вроде лесник застрелил. Узнали на нём Сашину лётную куртку. Правда это, или – брех, но молва была.

Сидим . В ресторане постепенно становится шумнее, сизее от дыма. Молчим. Вроде как вся жизнь просмотрена нами на короткометражной ленте. Петрович опять как-то обмяк, вроде покрылся цементной пылью.

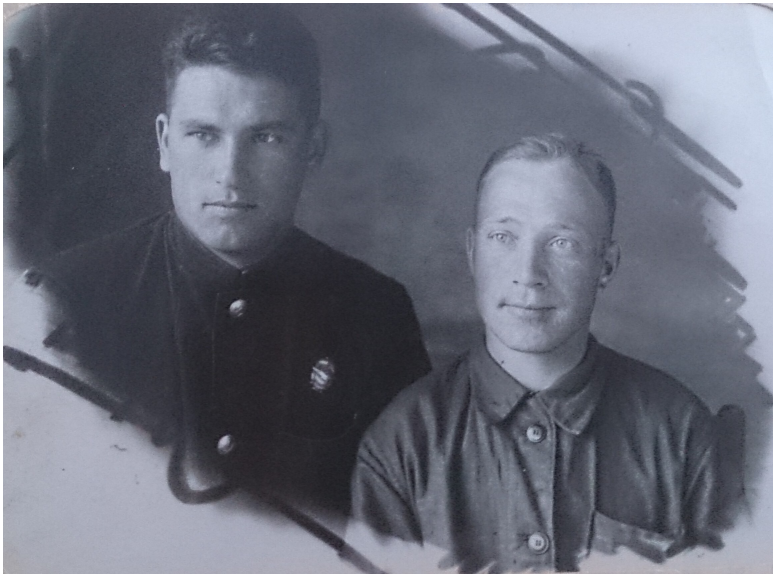
– Ну, а где Спарагус?

– Василь Самсонов, можно сказать, погиб дома, на «Ш-2».

И почему-то вспомнилось, как организовав отряд в конце сорок первого, я повёл его на фронт. А перед отлётом Самсонов в своей пламенной речи заверил нас: «Бейте фашистов, за тыл не беспокойтесь. Мы здесь ваших жён не дадим в обиду. Обережём». Конечно речь была с намёком, да видно, зря так загадывал. Я рассказал, как взлетев у «Дома отдыха» за Красноярском, Вася загнул такой разворот, что «Шавруха», скользнув на крыло, врезалась в воду. Все четверо погибли. Только Василя нашли – нанесло на трос понтона.

– Ну что же, пойдём, Антон

Стояли синие сумерки, молодёжь неслась стайками мимо, обтекая нас, как стержневая струя замшелые камни.



Конец Навигации

Осень сорок третьего года была ранней, она куда-то спешила, боясь опоздать, а за ней так же торопясь шла зима, сразу с хваткими морозами, ветрами и буранами. Енисей стал у Туруханска дней на десять–двенадцать раньше прошлогоднего. Выше, до поселка Верхнеимбатска жизнь на реке еще теплилась, но стала вялой. Шуга смерзлась в огромные поля и плыли они настолько медленно, что с воздуха казалось – они стоят. Ледовая обстановка была тяжелой, а навигация

для речного флота опасной и трудной. В пути еще было много караванов, спешивших вверх по реке и было видно, что они не все дойдут до чистой воды, которая день ото дня отступала от них все дальше и дальше на юг. Стали выдавать шугу сотни мелких речушек и пошло «сало» правым берегом Енисея из Подкаменной Тунгуски. Мы смотрели с воздуха на труд, умение и риск людей и видели как бы усмешку природы в этом единоборстве.

Намотавшись в воздухе часов 6-7 на тяжелом, на поплавках и неповоротливом «Г-1», с представителем ЕнУРПа на борту, мы шли на посадку в Енисейске. Лет тридцати пяти, худой, но широченный в плечах, обросший щетиной представитель должен несколько дней летать с нами, чтобы помочь караванам в сложной ледовой обстановке на реке. Высунувшись за борт самолёта, став на правое сиденье коленями (а чтобы не вывалится его за ноги держал борт-механик Иван Петрович), наш штурман пристально разглядывал что делается внизу. Часто он поднимал руку и крутил ею, я делал виражи, иногда один, и ждал его сигнала. Вот наш речник вытянул руку в сторону и показывал что нужно ниже, и тут же я выполнял маневр. Мы проносились бреющим рядом с караваном, баржи сидели низко в воде, борта их обледенели, все покрыто льдом и снегом. Но жизнь на баржах была. Тонкие струйки дыма шли из длинных труб пристроек на корме. Вот открылась дверь, выбежали двое ребят, один малыш в красной рубашонке, машут нам. Вдоль борта баржи бежит

черная собачонка, провожая самолет беззвучным лаем. На носу видна женщина, она может быть и шкипер этой посудины, мужиков то взяла война. Длинным багром отбивает лед с носа, якоря и бортов, машет нам рукой, и нам кажется, что она улыбается. А вот и буксир, я сбавляю скорость, чтобы лучше рассмотреть, но он весь парит, пар вырывается, мне кажется, изо всех его частей. Он бьет по ледовому месиву плицами, их видно. Края некоторых отломаны, другие расщеплены, кожухи буксира покрыты льдом и названия его прочесть нельзя. Кажется, что он похож на большую черную птицу, пронёсшуюся через снежную бурю. Вот около трубы вырываются тонкие белые струйки, одна, две, три. Это он нам, но мы не слышим. Приветствует в таком положении, не знает сам, что будет с ним через час, через сутки… Мы делаем над караваном второй заход. Народу на буксире и баржах больше, машет каждый. Я отвечаю, переваливая машину с крыла на крыло, и мы летим к следующему каравану.

Иван Петрович отпускает ноги штурмана, тот сходит с сиденья, снимает маску и очки с лица, вытягивается ко мне и кричит на ухо:

–Это – «Яблочков», не дойдет, надо куда-то девать его.

– ?

– Не потому, что не смогут – техника. Плицы! Не дойдёт!

–?

Мы летим низко, берега в молоке, снежные заряды периодически закрывают их совсем. Енисей парит, кругом сплош-

ная муть из снежной пыли. Жмусь к берегу, по берегу легче -черный фон берега, тайги. Прошел над Верхнеимбатском, гидро-порт давно закрыт, на мачте болтаются два черных шара…. Моторы работают хорошо. Иван Петрович все же искоса посматривает на бензиномерные трубки. Сразу за Верхнеимбатском почти рядом идут два каравана. Впереди метров на пятьсот идёт «Красноярский рабочий» с длинным хвостом барж, их одиннадцать. Его острый нос режет поля шуги, оставляя за собой полоску чистой воды. Из широкой трубы кольцами вырывается сизоватый дымок-выхлоп дизелей. Этому видно ничего не страшно. В подтверждение этому штурман-речник оборачивается ко мне, радостно улыбается и показывает большой палец. Я киваю головой и тоже улыбаюсь «Красноярский рабочий» идет медленно, но величаво, за кормой два буруна. смыкающиеся в полосу пенной воды. Корпус его широк и три первые баржи следуют по чистой воде. Дальше шуга смыкается и остальные баржи идут по ней.

Полеты продолжались ежедневно. Они не были помощью караванам, но начальство Енисейского Речного Пароходства хотело знать о судьбе судов и людей, так как радиообмена со многими судами не было, хотело видеть всю обстановку движения судов и своевременно принимать меры по спасению судов и людей. Мы сверху видели непомерный труд машин, людей, но природа была безжалостна. Некоторые караваны проходили за сутки едва ли двадцать километров и видно

было как они бились среди плотного льда, теряя баржи. Тогда и было принято решение разместить караваны в устьях рек. Забрав вымпела с приказаниями, посадив кого–то главного из ЕнУРПа и их штурмана, как выражался Ивана Петрович «утоптав горючего», вылетели из Енисейска.

На Конус

Самолеты работают на оперативных точках, они подкарм-

ливают и опыляют посевы зерновых. Над полями полыхают малиновые зори со вздохами легкого ветра и перепелиным убаюкиванием. Летим в маленький городишко на реке Битюг, несущим свои воды в тихий Дон. Через полтора часа приземляемся на зеленую, бархатистую от росы лужайку, подруливаем к балку, выкрашенному под цвет весеннего неба. После доклада командиру о прибытии едем в городок искать жилище на время работы. Городок весь в белой пене цветущих садов. "Хрущи над вишнями гудуть", домики все светлые, чистые, с веселыми мытыми окнами… Небольшое зало, в углу пианино, зеркало, завешенное черным, закрытый темно-алый, выкрашенный гроб. На крышке одна ветка цветущей сирени. Обхватив гроб руками безжизненно висит женщина, на ее плече лежит вздрагивающая рука мужчины. Его лицо с ямами глазниц опущено, острый подбородок упирается в грудь, из черноты глаз на волосы женщины и крышку гроба падают слезы.

. . .

Командир самолёта Сидоров рассказывает.

«В субботу закончили подкормку, я отпустил второго пилота на выходной домой – тут недалеко. Самому нужно было подбить итоги, механик остался покопаться в машине. В воскресенье после обеда вдруг прибегает сторож стоянки самолетов Пахомыч и, схватившись за голову, еле выдохнул: – Сгорели! Тут же подъехал милицейский газик. Проехали на площадку, подъехали к ферме на излучине реки. На ее ме-

сте был один пепел, кое-где сизым дымком тлели головешки, прогоркло пахло паленой шерстью. Пожарные спокойно прохаживались по пепелищу. Это они на тросе вытащили «аннушкин» скелет и не спеша стаскивали к нему сгоревших телят, ягнят, раздувшихся как бочонки. Подошли к тому, что осталось от самолета. Заглядываю в кабину. Там два обгоревших пня с короткими сучьями. Не могу представить, что это они, гоню от себя страшную мысль, а сам знаю, что это они.»

Сидоров умолк, глаза его влажнеют, губы начинают подрагивать. Молчим… Командир мнет пальцами папиросу, от балка пахнет смолой и краской, за углом повизгивает долговязый щенок на привязи. Сидоров продолжил: «Гриша, со слов Пахомыча, к самолету пришёл с Сашей, нарядные, держась за руки»…

Сашу мы все хорошо знали, она была такая ясная, светлая, стройная. Знала очень много стихов. Забрасывала нас ими как листвой в осенний листопад. Сколько она их знала!

«Ты, Пахомыч, не путайся под колёсами, я Сашеньке хочу кабину показать», – сказал Гриша. Пахомыч ушел за балок к щенку. «Потом,– говорит, – слышу мотор затарахтел, я выбежал, а самолет уже покатился, оторвался, немного повисел в воздухе и круто полез вверх… затем вроде как бы остановился, постоял-постоял, накренился и рухнул прямо на ферму. Поднялся клуб черного дыма, что то бухнуло и взметнулся огонь».

Поговорили мы и с самим Пахомычем. Жилистый, с медлительностью пасечника-лесовика, он был белый как прошлогодняя ячменная солома. «Виноват, это я их загубил, казните – и поделом мне – чего уж тут», – с солдатской прямотой говорит он.

В самом деле, кого винить. Можно конечно и успокоится словами следователя Ершова, который вину вменил механику – «погиб через меру недисциплинированности и преступных возможностей».

Пересчитаны убытки нанесённые колхозу. Выглядят солидно, и если все эти рубли сложить в наволочку, то получится подушка намного толще той, на которой я сплю в «Доме колхозника». Сидя у следователя, читаем написанное на сереньком листочке с расплывшейся печатью, оно кажется невероятным. «При вскрытии трупа механика Г.А. Митрова обнаружено присутствие алкоголя».

Из оцепенения нас выводит голос Ершова: «Вот это те граммы, которые, можно сказать, перетянули меру дозволенного. Вот вам и «хороший парень»».

Взлетаем, смотрим на промелькнувшее внизу черное пятно, где стояла колхозная ферма. Летим низко над поймой реки, цветущими садами, зеленью полей. Везем останки механика, везем еще одно горе под крышу родительского дома, в котором повторится всё то же, как и в этом городке над извилистой речкой.

. . .

На оперативных точках работают самолеты. Нужно как-то так сделать, так обмозговать, чтобы не гибли люди, машины, чтобы самолеты списывались по старости, а авиаторы парили подобно орлам, а не лежали в сырой мать-земле раньше срока, написанного на роду. Может случай этот единственный как молочный завод в нашем городе? Но по бумагам видно, что кое-где… Да вот в Красноярске было. Увидели с вертолета молодые летуны медведя, добывавшего себе харюзков из таежной реки. Сделали они пару выстрелов по нему, полагали убитым, и примостились «охотники» на галечной косе чтобы забрать трофей. А миша тем временем очухался и угнал их в тайгу. А вертолет помял так, что только в металлолом. Охотников через семь дней еле из тайги извлекли. Ну, они и признались, что перед охотой приняли «её» на борт. Вот она их и вынудила на зверя пойти.

Да… нужно выработать такое мероприятие чтобы по действию и суровости впиталось в сознание каждого и действовали от краюшка до краюшка нашей земли и во всех клетках мозга.

«Есть два варианта,-пишу я командиру нашего отряда,– теоретический и наш, с инженером Николаевым, сугубо технический. Во спасение того, что творится ныне на Руси, предлагаю запретить навечно изготовление, продажу всего спиртного в сорока девяти областях Российской Федерации, шестнадцати республиках, за исключением Грузинской

ССР, пяти автономных областях, всех краях и национальных округах».

Стучусь в дверь к командиру, вхожу, подаю листок. Ещё не читая, он недовольно спрашивает:

– И это всё?

– Хорошего по-маленьку, – бурчу я.

Он начинает читать и челюсть его отвисает как оторванная подошва..

– Стало быть, сухой закон? Посмотри на этого умника,– говорит он замполиту.

Тот смотрит, как будто видит меня впервые, молча берет протянутый командиром листок.

– В древнем Риме тебя бы камнями забили на площади. Но у нас есть профсоюз и тебе конечно все сойдет с рук, – философски замечает в мой адрес командир.

А замполит резво пробегает написанное и брезгливо отодвигает листок, будто он дурно пахнет.

– Вот так сразу и запретить?– Раньше него вставляет командир. – Почитай, почти триста лет пьём с Петра..

– Да это уже где-то было, сухой закон, да ничего из этого не вышло – народ воспротивился. Мы его просили написать мероприятия по отряду, а он хватил аж до Чукотки. А там – мороз. Может, там ею только и спасаются люди. Запретить по всей Руси – это дело государственное, да и то, сразу – невозможно. Вот, например, магазин открывается с восьми, а водку продают только с одиннадцати, потом будут с двена-

дцати, а там – и с часу и далее в том же духе. Видишь, не сразу отчуждают от нее, а постепенно, как бы на конус. Да и потом все эти безобразия от того что люди пить не умеют, правда, командир ?

Тот кивает головой и прячет свой взгляд смотря в окно.

– Если не умеют пить,-говорю я, -то ведь можно и научить, организовать шестимесячные курсы, как у шофёров, с практикой.

Все молчат. За окном гудят моторы, их пробуют техники, готовя самолеты под расписание полетов.

– Может общественность привлечь к этому делу? – Говорит замполит в мою сторону.

– А что она непьющая, что ли? – Бросает командир.

– Нет, это дело нам не подходит, – и мне трудно понять о чём говорит замполит – то ли про общественность, то ли про мероприятия.

На стекле окна – капли дождя; вот они собираются в тонкие струйки и весело бегут вниз.

. . .

«В переключатель–замок зажигания любого двигателя монтируется этот газолот», – говорит долговязый, с хохолком русых волос инженер Николаев.

«В глазок прибора вставлен фотоэлемент и газоанализатор. Фотоэлемент дает прибору возможность включаться при естественном свете дня и ночи через калибр ультракрасных лучей. Если глазок закрыть умышленно, то фотоэлемент замкнет цепь передних клемм маятникового переключателя-замка зажигания двигателя с массой и двигатель не запустится. Так что глазок прибора должен быть всегда открыт. Допустим,– вытирая мелкие капли пота со лба, продолжает Николаев,– в кабину сел экипаж и один из них, а может и все, накануне употребляли спиртное и еще чувствуется некоторое «излучение», то газоанализатор обучен на этот запах, зафиксирует, поймет его и замкнет теперь уже цепь задних контактов тем же маятниковым переключателем–замка зажигания двигателя с массой и двигатель также не запустится. А если работал, то выключится, но теперь уже реле времени будет держать контакты пятнадцать минут, хоть дыши-хоть не дыши. После пятнадцати минут реле отпустит контакты. Но если газоанализатор опять поймает «душок», то опять замкнутся задние контакты. Таким образом сама машина ничего общего не будет иметь с экипажем, от которого будет пахнуть «фиалкой».

– А что, если уже в воздухе он обнаружит «излучение» – посторонние из пассажирской кабины, тогда хоть падай ? – Спрашивает замполит

– Нет, как только скорость самолета, ещё на бегу будет более 35 км в час, воздушное реле нажмет на этот вот рычажок и застопорит маятниковый переключатель, прибор отключится.

– Да, здорово закручено, вроде, всё правильно, неужто нам его в автохозяйство внедрят?– Делится своей думкой с автомехаником завгар Фадеев.

Тот долго думает.

– А ведь, Сидорыч, можно ж и напрямую, минуя замок. Оба веселеют и хихикают.

– Вот мы сейчас его и попробуем в действии, – говорит Николаев.

Он вынимает из кармана пузырек с прозрачной жидкостью, хочет его открыть, но передумывает и ставит его на край стола. Потом щелкает тумблерком, включая питание, поправляет очки, тянется к пузырьку, но в этот момент в приборе что то отрывисто дзинькает и низко гудит. Николаев, обалдело щурясь близорукими глазами смотрит на собравшихся. Не может быть! Ну кто ? А ведь утро ещё!

Предместкома Тихонов сидит плотно сжав губы, чуть дыша, в лице недоумение.

–Только кружку пива. Неужто и это? – Прикрывая рот рукой говорит он.

– Да, и это!– Завёртывая прибор в тряпицу и опуская его в авоську недовольно ворчит Николаев.

–Так что же теперь будет, братцы!– Возмущается начальник ГСМ – Так эта штука нас всех переведет!

Опять тишина. Мысли страшные и далёкие. Как быть ?

– Народ этого не допустит!– К чему-то изрекает Предместкома Тихонов идя к двери.

. . .

Стоим перед охранником на проходной; у меня в руках длинная трубка схем, у Николаева –авоська, в ней коробка из-под обуви, перевязанная шпагатом. Показываем пропуска.

– Оставьте все здесь и проходите, – добродушно говорит дядька с наганом у паха.

– Как оставить ? – ведь это нужно там!

– С вещами пустить не могу, такой порядок. Может, в них что.

Николаев развязывает коробку, разматывает тряпицу, подносит прибор к носу дядьки.

– Вот видишь, что у нас ? Видишь, что ничего нет, а ?

– Так, а в нём разве не может ?

– Конечно не может, – догадываясь о чём речь, смеётся Николаев.

– Ну, тогда идите.

Секретарь, такая с достоинством, как вроде она всё может глядит на нас как на серенъких жучков, пытаясь понять как

они сюда заползли…

– Ну, ладно, раз вызов, доложу, – и вильнув гибким позвоночником, скрывается за дверью.

Проходи немного времени, дерматин в медных бляхах распахивается и нам разрешают войти.

Стол – можно залить хоккейное поле – раскладываю чертежи. Николаева заливает пот, потеют даже очки, вот он их трёт масляной тряпкой, во что был завёрнут прибор, от чего они тускнеют.. Демонстрируем на «излучение». Николаев капает на ватку спирт, кладет ее на край стола метра за три, включает питание и сразу в приборе дзинькает и гудит реле времени. Ждем пятнадцать минут, гудение прекратилось, потом опять щелчок контактов и гудение. «Порядок,– думаю я,– прибор работает как часы.»

– Да, видно, штука стоящая, – говорит министр, смеясь и пуская тонкую струю сигаретного дыма. Ох и мороки же с ним будет! Сами понимаете, кто с похмелья, кто опохмелился, кто после праздников, именин, дня рождения, встреч, похорон, бракосочетания, бракоразвода, не говоря уже о дне получки. А «он» ведь это не учтёт, «ему» ведь чтоб ни-ни, я так понимаю ?

– Так точно,-отвечаем мы,– ему хоть хны, он свое дело круто знает!

– Ну, я одобряю…весьма перспективный приборчик.

Идем по улице Горького, в гастрономических – обилие питья, посуда всех размеров, содержимое всех цветов, бу-

тылки разодеты как невесты. В Столешниковом, фирменном, столпотворение, в основном длинноволосая, бледноликая, задумчивая молодежь хватает польскую, бутылки удобные – курбатенькие как снаряд от сорокопятки. Да здесь не только польская, свезли сюда чуть ли не со всего света. Стоим думаем.

– Может возьмем одну ямайского, -предлагаю я Николаеву.

Он безнадежно смотрит на меня и на авоську, где в коробке лежит «он».

Выходим, идем в кафе, тут же на уголку, пьем душистый ванильный кефир со слойками и размышляем, в какой бы театр махнуть.

. . .

Всё подготовлено, развешаны чертежи, отвечено на все хитроумные вопросы. Пока всем понятно. Газолот смотрит в народ расположившийся веером вокруг. Народ переговаривается, кое-где смешки, дым висит под потолком голубым туманом. Николаев не потеет, сух и спокоен. В руке у него пузырёк, и он просит согласия министра начать.

– Минутку, – говорит министр, – значит, вопросов больше нет, это хорошо. Но мне кажется, что товарищи, особенно из летного и эксплуатационного отделов к сказанному инженером Николаевым отнеслись с недоверием, даже упрекнув автора в том, что этот прибор может унизить достоинство человека, личность, так сказать. Я с этим прибором зна-

ком второй день и знаю, что он не обидит личность, если она сама себя уважает. Сейчас увидите его работу и измените своё мнение. Товарищ Николаев, спрячьте реактив и включите прибор, может, он что и обнаружит у аудитории.

Наступила тишина, как во внезапно сломанном радиоприемнике «Рекорд». Лучи полуденного солнца бьют в окна, расщепляя табачный дым на косицы. Щелкнул тумблер, и все как один повернули головы на звук и замерли…

– Может, с ним не порядок ?– Не выдержав долгой паузы спросил министр.

– Нет, всё как будто так, – шевелит губами Николаев.

В это время распахнулась дверь и в ней появился молодой, в отлично сидящей форме с большим количеством нашивок, начальник связи Министерства Гольдберг.

–Разрешите присутствовать, товарищ министр, задержался на объекте.

–Разрешаю, проходите.

Не успел он с разрешения министра приблизиться к свободному месту, как в газолоте дзинкнуло и низко загудело. Министр высоко поднял левую бровь, придавил окурок в пепельнице и, глядя в зал на всех, проговорил:

–Вот, видите, на ловца и зверь бежит. Товарищ Гольдберг, скажите что Вы делали на объекте? Только чистосердечно, Вы поняли меня?

–Извините, товарищ министр, больше этого не повторится. Выпил сто пятьдесят граммов коньяку часа два назад

Вечер, идём довольные, думаем, видимо, одно. Приборчик многих заставил задуматься, многих удивил, некоторые в обиде. Но что поделаешь, се ля ви, как говорят французы. Завтра – домой. Указания последуют – вот тогда и мы засядем вплотную. Наперво вмонтируем их сначала в «Аннушки», которые на оперативных точках. Ну а потом….

. . .

…В холостяцкой, безалаберной квартире Николаева, где дверь, часы, чайник, радиола – все управляется электроникой с одного пультика, «давим» бутылку «Российской». Сегодня день «Аэрофлота», праздник есть праздник, не мы его выдумали. На вешалке, рядом с плащем «Болонь» висит авоська, в ней коробка из-под обуви, перевязанная шпагатом. Подхожу, сквозь ячейку сетки провожу пальцем по коробке. На ней появляется бороздка, на пальце – комочек пыли. Сажусь, наливаю, смотрю в его очки. В них – чудные большие, с крапинками цвета перепелиных яиц глаза. Удивленные с едва заметной дымкой. За окном вьюга, ветер бьет сухим снегом по стеклу. Молчим, о чём говорить? Почему-то вспоминается та весна в беленьком городке на реке Битюг, единственная ветка распустившейся сирени на алой крышке гроба. Грусть ползет холодком, я ее чувствую в себе, но где – не пойму. Потом мне кажется, что напротив меня не Николаев, а предместкома Тихонов. Вот он, растягивая тонкие губы говорит,: «Нет, народ этого не допустит» – и быстро тускнеет, а может это я закрыл глаза, прислушиваясь что

творит ветер за окном в эту февральскую ночь.

Февраль 1974г.